**Святитель Григорий Богослов**

**Слова (16 – 26)**

Оглавление

[СЛОВО 16. В память святых мучеников Маккавеев 1](#_Toc226613039)

[СЛОВО 17. В память святых мучеников Маккавеев 5](#_Toc226613040)

[СЛОВО 18. Сказанное в похвалу отцу и в утешение матери Нонне в присутствии св. Василия, к которому обращено вступление к данному слову 10](#_Toc226613041)

[СЛОВО 19. Произнесенное св. Григорием Богословом о словах своих Юлиану, производившему перепись народа и уравнение податей 22](#_Toc226613042)

[СЛОВО 20. О поставлении епископов и о догмате Святой Троицы 26](#_Toc226613043)

[СЛОВО 21. Похвальное Афанасию Великому, архиепископу Александрийскому 29](#_Toc226613044)

[СЛОВО 22. О мире, произнесенное на общем собрании единоверных, бывшем после примирения 38](#_Toc226613045)

[СЛОВО 23. О мире, произнесенное в Константинополе по случаю распри, произошедшей в народе о некоторых несогласных между собой епископах 42](#_Toc226613046)

[СЛОВО 24. В похвалу святому священномученику Киприану сказанное на другой день его памяти по возвращении Григория из села 47](#_Toc226613047)

[СЛОВО 25. В похвалу философу Герону, возвратившемуся из изгнания 52](#_Toc226613048)

[СЛОВО 26. Произнесенное святым Григорием Богословом о себе самом, когда он после покушения Максима занять архиепископский престол в Константинополе возвратился из села 57](#_Toc226613049)

# СЛОВО 16. В память святых мучеников Маккавеев

Что скажем о Маккавеях? Настоящее собрание — для них. И хотя немногие их чествуют, потому что подвизались не после Христа; однако же они достойны, чтобы все их чествовали, потому что терпели за отеческие законы. Сделавшись мучениками прежде Христовых страданий, чего не совершили бы они, подвергшись гонению после Христа и став подражателями Его за нас смерти? И без такого образца показав столько доблести, не оказались ли бы они еще более мужественными, если бы страдали, взирая на пример Христов? Но есть также таинственное и сокровенное учение (весьма вероятное для меня и для всякой боголюбивой души), по которому из достигавших совершенства прежде пришествия Христова никто не достигал этого без веры во Христа. Ибо Слово, хотя ясно открылось уже впоследствии, в определенное время, однако же умам чистым было ведомо и прежде, как показывают многие прославленные до Христа. Почему и Маккавеев нельзя унижать за то, что страдали прежде Креста. Но поскольку пострадали по закону крестному, то и достойны похвал, и должны быть почтены словом, почтены не для того, чтобы получила приращение собственная их слава (слово прибавит ли славы тем, чьи дела славны?), но чтобы прославились восхваляющие и поревновали доблестям их слышащие, в воспоминании о них находя для себя побуждение к равным подвигам.

Кто и откуда были Маккавеи, чьим руководством и наставлением пользуясь вначале, достигли такой доблести и славы, что почтены этими ежегодными торжествами и собраниями, и что для них в душе каждого соблюдается слава, которая выше видимого прославления, — все это для людей любопытных и трудолюбивых покажет сочиненная о Маккавеях книга, которая, любомудрствуя о том, что разум есть самовластитель над страстями и господин наклонностей к тому и другому, то есть к добродетели и пороку, в доказательство этого, между немалочисленными другими свидетельствами, приводит и подвиги Маккавеев. А для меня достаточно будет сказать следующее.

Здесь Елеазар — первый из пострадавших до Христа (как Стефан — первый из страдавших после Христа), иерей и старец, седой власами, седой и мудростью, приносивший прежде жертвы и молитвы за народ, а теперь приносящий самого себя Богу в жертву совершеннейшую, в очищение всего народа. Благознаменательное предначинание подвига! вместе и велегласное и безмолвное назидание! Но он приводит и семерых юношей — плод собственных его наставлений, *жертву живую, святую, благоугодную Богу* (Рим. 12,1), жертву, которая славнее и чище всякого подзаконного священнодействия. Ибо доблести сынов вменять отцу — всего законнее и справедливее.

Там сыны, мужественные и великие духом, благородные отрасли благородной матери, ревностные подвижники за истину, достойные времен не Антиоховых, истинные ученики Моисеева закона, точные блюстители отечественных нравов, составляющие одно из чисел, уважаемых евреями, — число, отличенное таинством семидневного покоя, одним дышат, одно имеют в виду, один знают путь жизни — умереть за Бога! Они столько же братья по душе, как и по плоти, ревнуют друг другу в желании смерти (дивное зрелище!); как сокровища, предвосхищают один у другого мучения, твердо стоят за пестуна, то есть за закон, не столько боятся уготованных им мук, сколько желают тех, которых еще не видят; одного только страшатся, чтобы мучитель не прекратил истязаний, чтобы кому-либо из них не остаться неувенчанным, не разлучиться поневоле с братьями и не стать худым победителем, избежав, к несчастью, страданий.  
     Там мать бодрая и мужественная, вместе чадолюбивая и боголюбивая, терпит в материнском сердце терзания, невероятные по природе. Она не о страждущих сынах жалеет, но мучится опасением, что сыновья не будут страдать; не столько скорбит об отошедших, сколько желает, чтобы присоединились к ним оставшиеся; у нее больше заботы о последних, нежели о преставившихся; потому что одним предстоит еще сомнительная борьба, а других кончина сделала безопасными; одних она вручила уже Богу, о других еще беспокоится, как примет их Бог. Какая мужественная душа в женском теле! Какое чудное и великодушное усердие! Подлинно — Авраамова жертва, и, если не дерзко будет сказать, даже больше Авраамовой! Авраам охотно приносит единого сына, правда, — единородного, рожденного по обетованию, — сына, для которого дано было обетование и (что важнее) который назначен быть начатком и корнем не только рода, но и подобных жертв, она же освятила Богу целый народ сынов; она и матерей и жрецов превзошла числом жертв, готовых на заклание всесожжений умных священноприношений, поспешающих к алтарю. Она указывала на грудь, напоминала о питании, свидетельствовалась сединой, употребляла старость в ходатайство за свои прошения, не для того, чтобы спасти детей от смерти, но чтобы побудить их к страданиям; потому что почитала для них опасностью не смерть, но замедление смерти. Ничто ее не колебало, ничто не приводило в расслабление, не лишало радости: ни приготовленные деревянные дыбы, ни поставленные колеса, ни блоки, ни подмостки, ни острота железных когтей, ни изощренные мечи, ни кипящие котлы, ни разведенный огонь, ни грозный мучитель, ни стечение народа, ни окружающая воинская стража, ни предстоящие соплеменники, ни расторжение членов, ни терзание плоти, ни потоки текущей крови, ни погубляемая юность, ни настоящие ужасы, ни ожидаемые страдания. И что для других бывает всего тяжелее в подобных случаях, то есть продолжительность бедствия, то для нее было всего легче. Она услаждалась зрелищем, как ни длились страдания, не только от разнообразия употребляемых истязаний (которые все действовали на нее менее, нежели на другого подействовало бы одно какое-нибудь истязание), но и оттого, что гонитель испытал все роды речи, — то ругал, то грозил, то ласкал. Ибо к каким средствам ни прибегал он, чтобы достигнуть желаемого?

Но ответы юношей мучителю, по моему мнению, столько показывают мудрости и мужества, что как доблести других, взятые вместе, малы в сравнении с их терпением, так и само терпение мало в сравнении с благоразумными их речами. И им только одним свойственно было так страдать и с таким любомудрием отвечать на угрозы мучителя, на все, чем их устрашали, и что нимало не преодолело ни мужественных сынов, ни еще более мужественной матери. Она, став выше всех и с материнской любовью соединив силу духа, приносит себя в прекрасный погребальный дар детям; и сама последует за отошедшими прежде нее. И притом как? Добровольно идет на страдания, не допустив даже, чтобы нечистое тело прикоснулось к ее чистой и мужественной плоти. И какие произносит она надгробные слова! Прекрасны, даже прекраснейшие из прекрасных были ответы сынов мучителю. Ибо не прекрасны ли те речи, вооружась которыми, низлагали они мучителя? Но еще прекраснее речи матери, сперва увещательные, а потом надгробные.

Итак, что же произнесено было сынами? Теперь весьма благовременно возобновить это в вашей памяти, чтобы иметь вам из этих времен образец как подвижничества, так и мученических речей. Каждый из братьев говорил что-нибудь свое, как ополчали его слово гонителя, очередь страдания и душевная ревность. Но если все речи их привести в одну, то говорили они так: «Антиох, и вы все предстоящие здесь! У нас один царь — Бог, от Которого получили мы бытие и к Которому возвратимся; один законодатель — Моисей, которому (клянемся в том бедствиями, какие претерпел он за добродетель, и многими его чудесами) мы не изменим и не нанесем бесславия, хотя бы угрожал другой Антиох, который и тебя свирепее. Для нас одно безопасное прибежище — соблюдать заповеди и не нарушать закона, которым ограждаемся как истиной. У нас одна слава — для славы нашего закона презирать всякую славу; одно богатство — те блага, которых надеемся. А страшного для нас нет, кроме одного — убояться чего-либо больше Бога. С такими мыслями и с таким оружием выступаем мы на брань; с такими юношами имеешь ты дело. Хотя вожделенны для нас и мир этот, и родная земля, и друзья, и сродники, и сверстники, и этот великий и славный храм, и отеческие праздники, и таинства, и все, в чем поставляем свое преимущество перед другими народами, однако же не вожделеннее Бога и страданий за доброе дело. Нет, и не думай этого! Ибо для нас есть другой мир, который выше и постояннее видимого. Наше отечество — горний Иерусалим, которого никакой Антиох не отважится держать в осаде и не понадеется взять; так он крепок и неодолим! Наше родство — Божие вдохновение и все доблестно рожденные. Наши друзья — пророки и патриархи, служащие для нас образцом благочестия. Наши сверстники — все ныне бедствующие и современные нам в терпении. А храмом у нас великолепное небо; и празднество наше — ликостояния Ангелов. У нас одно великое, даже величайшее, и для многих сокровенное таинство — Бог, Который есть цель и здешних таинств. Итак, не обольщай больше нас обещаниями вещей маловажных и ничего не стоящих. Не придаст нам чести бесчестное; не обогатит нас вредное; мы не решимся на такую жалкую куплю. Прекрати свои угрозы; иначе, мы сами станем грозить тебе, чтобы обличить твое бессилие и показать, какие у нас готовы тебе казни. Ибо есть у нас и огонь, которым мучим гонителей. Не думаешь ли, что борешься с народами, городами и самыми изнеженными царями, из которых одни одержат верх, а другие, может быть, останутся и побежденными, потому что для них не такого рода опасность? Ты восстаешь против Божия закона, против благоначертанных скрижалей, против наших отеческих постановлений, получивших важность и по своему высокому значению, и по давности, восстаешь против семи братьев, которые живут как бы одной душой и опозорят тебя семью победными памятниками. Не важное дело — победить их; но великий стыд — потерпеть от них поражение! Мы потомки и ученики тех, которых путеводил столп огненный и облачный, для которых расступилось море, стала река, остановилось солнце, дождем был хлеб, воздеяние рук обращало в бегство тысячи врагов, низлагая их молитвой, перед которыми укрощались звери, к которым не прикасался огонь, которых мужеству дивились и уступали цари. Скажем нечто и тебе самому известное: мы ученики Елеазара, мужество которого тобой изведано. Сперва совершил свой подвиг отец, теперь вступают в борьбу дети; жрец уже отошел, вслед за ним пойдут и жертвы. Ты устрашаешь многим, но мы готовы еще на большее. Да и что сделаешь нам своими угрозами, горделивец? Какое причинишь нам зло? Никто не превзойдет крепостью готового на все страдания. Что ж медлит народ? Почему не приступают к делу? Для чего ожидать милостивого повеления? Где мечи? Где оковы? Пусть разводят больше огня, выпускают самых сильных зверей, готовят самые отличные орудия мучений, чтобы все было по-царски и стоило дорого! — Я первородный; меня принеси прежде в жертву. — Я последний из братьев, лучше изменить порядок. — Нет, пусть кто-нибудь из средних сделается первой жертвой, чтобы все мы были почтены равно. Но ты щадишь и ждешь, что переменим мысли. Еще, и не раз повторяем тебе то же слово: мы не вкусим нечистого, не изъявим своего согласия; скорее ты уважишь наши постановления, нежели мы покоримся твоим; короче сказать: или изобрети новые казни, или убедись, что мы презираем те, которые ты нам приготовил».

Так говорили братья мучителю; а как убеждали они друг друга! и какое представляли собой зрелище — подлинно прекрасное и священное! Для душ боголюбивых оно приятнее всего, что только можно видеть и слышать. Я сам, при одном воспоминании, исполняюсь удовольствием, созерцаю перед собой мысленно подвижников и услаждаюсь повествованием о них. Они обнимали и лобызали друг друга; для них наступил праздник, как бы по совершении уже подвигов. «Пойдем, братья, — взывали они, — пойдем, поспешим на мучения, пока мучитель пылает еще на нас гневом, чтобы нам не утратить спасения, если он смягчится. Пир готов; не лишим себя его. Прекрасно видеть братьев, которые живут *вместе* (Пс. 132, 1), вместе веселятся и служат друг другу щитом, но еще прекраснее, если они вместе бедствуют за добродетель. Если бы за отеческие постановления можно было бороться с оружием в руках — и в таком случае смерть была бы похвальна. Но поскольку не этого требуют обстоятельства, то принесем в жертву сами тела. Да почему же и не пожертвовать ими? Если не умрем теперь, то разве никогда не умрем? Разве никогда не воздадим должного природе? Лучше обратим в дар, что надобно уступать по необходимости: перехитрим смерть; всем общее обратим в свою собственность и ценой смерти купим жизнь. Ни один из нас да не будет животолюбив и робок. Пусть мучитель, преткнувшись о нас, отчается и в других. Пусть сам он назначает порядок, кому за кем страдать; если кто и заключит собой ряд гонимым, — это не сделает различия в горячности нашего усердия. Первый из пострадавших да будет для других путем, а последний — печатью подвига. Все с равной твердостью положим на сердце, чтобы целым домом приобрести нам венцы, чтобы гонитель не имел в нас ни единой доли и не мог, в кипении злобы, похвалиться победой над всеми, победив одного. Докажем, что мы друг другу братья не только по рождению, но и в самой смерти; постраждем все, как один и каждый из нас да постраждет равно всем. Прими нас, Елеазар, последуй за нами, мать; погреби великолепно мертвецов своих Иерусалим, если только останется что для гроба; рассказывай о нас последующим родам и чтителям твоим показывай священное место погребения единоутробных».

Так говорили и действовали они, так по старшинству лет поощряли друг друга, подобно тому, как вепрь острит один зуб другими. Все они сохраняли одинаковую ревность, к удовольствию и удивлению единоплеменников, на страх и ужас врагам. И враги хотя смело ополчились против целого народа, но единодушием семи братьев, подвизающихся за благочестие, столь были посрамлены, что теряли уже приятную надежду одолеть и прочих.

А мужественная и подлинно достойная таких доблестных сынов мать, эта великая и высокая духом питомица закона, порываемая двумя сильными движениями сердца, ощущала в себе смешение и радости, и страха — радости, по причине мужества сынов и всего ею видимого, — страха, по неизвестности будущего и по причине чрезмерных мучений. И как птица, которая видит, что змея ползет к птенцам или другой кто злоумышляет против них, она летала вокруг, била крылами, умоляла, разделяла страдания детей. И чего ни говорила, чего ни делала, чтобы воодушевить их к победе! То похищала капли крови, то поднимала отторженные части членов, то благоговейно припадала к останкам; собирала члены одного сына, а другого отдавала мучителям, и третьего приготовляла к подвигу. Всем возглашала: «Прекрасно, дети! Прекрасно, доблестные мои подвижники, почти бесплотные во плоти, защитники закона моей седины и святого града, который вас воспитал и возвел на такую высоту доблестей! Еще немного; и мы победили! Мучители утомились — этого одного боюсь. Еще немного; и я — блаженная из матерей, а вы — блаженные из юношей! Но вам жалко разлучиться с матерью? Не оставляю вас; обещаю вам это. Я не ненавистница детей своих».

Когда же она увидела, что все скончали жизнь и своей смертью избавили ее от беспокойств, тогда со светлым взором подъемлет голову и подобно олимпийскому победителю, с бодрым духом воздавши руки, громко и торжественно говорит: «Благодарю Тебя, Отче Святый! Благодарю Тебя, наставник наш — закон! Благодарю тебя, наш отец и поборник чад твоих Елеазар! Благодарю, что принят плод болезней моих, и я сделалась матерью, священнейшей из матерей! Ничего не осталось у меня для мира; все отдано Богу, — все мое сокровище, все надежды моей старости. Какая великая для меня почесть! Как прекрасно обеспечена старость моя! Теперь я вознаграждена за воспитание ваше, дети, — видела, как подвизались вы за добродетель, сподобилась увидеть всех вас увенчанными; даже на истязателей ваших смотрю как на благодетелей; готова свидетельствовать благодарность мучителю за это распоряжение, по которому соблюдена я для страданий последняя, чтобы, изведя прежде на позорище рожденных мной и в каждом из них совершив мученический подвиг, по принесении всех жертв, перейти мне отсюда в полной безопасности. И я не буду рвать на себе волос, раздирать одежды, терзать ногтями плоти, не стану возбуждать к слезам, созывать плачущих, заключаться в темное уединение, чтобы сам воздух сетовал со мной, не буду ожидать утешителей и предлагать хлеба скорби. Все это прилично матерям малодушным, которые бывают матерями только по плоти, у которых дети умирают, не оставив по себе доброго слова. А вы у меня, любезнейшие дети, не умерли, но принесены в дар Богу; не навсегда разлучились со мной, но только переселились на время; не расточены, но собраны вкупе; не зверь похитил вас, не волна поглотила, не разбойник погубил, не болезнь сокрушила, не война истребила, и не другое какое-либо постигло вас бедствие, более или менее важное из обычных людям. Я стала бы плакать, даже горько плакать, если бы случилось с вами что-либо подобное. Тогда бы слезами доказала я свое чадолюбие, как доказываю ныне тем, что не проливаю слез. Мало этого. Тогда бы я действительно стала оплакивать вас, когда бы вы к вреду своему спаслись от мучения, когда бы мучители восторжествовали над вами и одержали верх хотя над одним из вас, как теперь побеждены вами сами гонители. А что совершилось ныне — это похвала, радость, слава, ликование и веселье для оставшихся. Но и я приношусь в жертву вслед за вами. И я буду сравнена с Финеесом, прославлена с Анной. Даже еще больше, потому что Финеес ревновал один, а вы явились многочисленными карателями блудников, поразив блудодеяние не плотское, но духовное; и Анна посвятила Богу одного, Богом же данного, притом недавно рожденного сына; а я освятила семерых возмужавших, и притом пожертвовавших собой добровольно. Да восполнит мое надгробное слово Иеремия, не оплакивающий, но восхваляющий преподобную кончину! Вы *были чище снега, белее молока,* и лучше *коралла* стал сонм ваш — рожденные и принесенные в дар Богу (Плач. Иер. 4,7)! Что же еще? Присоедини и меня к детям, мучитель, если и от врагов можно ждать милости. Присоедини и меня, — такая борьба будет для тебя славнее. О как бы желала я претерпеть все те муки, какие терпели они, чтобы кровь моя смешалась с их кровью и старческая плоть — с их плотью! Для детей люблю сами орудия их страданий. Но если не будет этого: по крайней мере прах мой да соединится с их прахом, и один гроб да приимет нас! Не позавидуй равночестной кончине тех, которые равночестны по доблестям. Прощайте, матери, прощайте, дети! И матери так воспитывайте рожденных вами, и дети так воспитывайтесь! Прекрасный пример подали мы вам, как подвизаться подвигом добрым». Так сказала она и приложилась к сынам своим. Но как? — спросите. — Как на брачное ложе, востекши на костер, на который была осуждена. Не стала ждать, чтобы кто-нибудь возвел ее, не попустила, чтобы нечистое тело коснулось ее чистой и мужественной плоти.

Так Елеазар насладился священством; так сам был посвящен и других посвятил в небесные таинства: не внешними кроплениями, но собственной кровью, освятил Израиля и последний день жизни сделал совершительным таинством! Так сыны насладились юностью; не сластолюбию раболепствуя, но возобладав над страстями, очистили тело и преставились к бесстрастной жизни! Так мать насладилась многочадием, так украшалась детьми при жизни их и опочила вместе с отошедшими! Рожденных для мира представила она Богу, по числу их подвигов вновь исчислила свои болезни рождения, и старшинство детей узнала из порядка, в каком они умирали; потому что подвизались все, от первого до последнего, и как волна следует за волной, так они — один за другим оказали доблесть, и один готовее другого шел на страдания, уже укрепленный примером перед ним пострадавших. А поэтому мучитель был рад, что она не была матерью большего числа детей; иначе остался бы еще более посрамленным и побежденным. И тогда только в первый раз узнал он, что не все можно преодолеть оружием, когда встретил безоружных юношей, которые, ополчившись одним только благочестием, с большею ревностью готовы были все претерпеть, нежели с какой готовился сам он подвергнуть их страданиям.

Такая жертва была благоразумнее и величественнее жертвы Иеффая; потому что здесь ни пламенность обета, ни желание нечаемой победы не делали приношения, как там, необходимым; напротив, совершенно добровольное жертвоприношение, и наградой за него служили одни уповаемые блага. Такой подвиг ничем не ниже подвигов Даниила, который предан был на съедение львам и победил зверей воздеянием рук; он не уступает мужеству отроков в Ассирии, которых ангел оросил в пламени, когда не согласились они нарушить отеческого закона и не прикасались к скверным и неосвященным снедям. А по усердию не маловажнее он и тех жертв, какие впоследствии принесены за Христа. Ибо страдавшие за Христа, как сказал я в начале слова, имели перед очами кровь Христову, и вождем их в подвигах был сам Бог, принесший за нас столь великий и чудный дар; а Маккавеи не имели перед собой ни многих, ни подобных примеров доблести. Их терпению дивилась вся Иудея; она радовалась и торжествовала, как будто бы сама была тогда увенчана; потому что и ей предлежал при этом подвиг, даже величайший из подвигов, когда-либо предстоявших Иерусалиму, — или видеть в этот день попрание отеческого закона, или прославиться. Участь всего еврейского рода зависела от подвига Маккавеев и находилась как бы на острие меча. Сам Антиох изумлялся; так угрозы его превратились в удивление; потому что великим подвигам умеют дивиться и враги, когда пройдет гнев, и дело оправдывает само себя. Поэтому он удалился, не получив успеха, и каясь много, хвалил отца своего Селевка за уважение к иудейскому народу и за щедрость к храму, так сильно укорял Симона, побудившего к войне, признавая его виновником бесчеловечия и бесславия.

Будем подражать Маккавеям, и священники, и матери, и дети; священники — в честь Елеазара, духовного отца, показавшего превосходнейший пример и словом и делом; матери, в честь мужественной матери, да окажутся истинно чадолюбивыми, и да представят чад своих Христу, чтобы сам брак освятился таковой жертвой; дети да почтят святых юношей и да посвящают время юности не постыдным страстям, но борьбе со страстями, мужественному ратоборству с ежедневным нашим Антиохом, который воюет посредством всех членов наших и многоразлично гонит нас. Ибо желаю, чтоб были подвижники для всякого времени и случая, из всякого рода и возраста, подверженного и явным нападениям и тайным наветам врагов. Желаю, чтобы пользовались древними указаниями, но пользовались также и новыми, и подобно пчелам, отовсюду собирали полезнейшее в состав единого сладкого сота, дабы и через Ветхий и через Новый Завет прославлялся в нас Бог, славимый в Сыне и в Духе, знающий Своих и знаемый своими, исповедуемый и исповедующий, прославляемый и прославляющий в самом Христе, Которому слава вовеки. Аминь.

# СЛОВО 17. В память святых мучеников Маккавеев

Что скажем о Маккавеях? Настоящее собрание — для них. И хотя немногие их чествуют, потому что подвизались не после Христа; однако же они достойны, чтобы все их чествовали, потому что терпели за отеческие законы. Сделавшись мучениками прежде Христовых страданий, чего не совершили бы они, подвергшись гонению после Христа и став подражателями Его за нас смерти? И без такого образца показав столько доблести, не оказались ли бы они еще более мужественными, если бы страдали, взирая на пример Христов? Но есть также таинственное и сокровенное учение (весьма вероятное для меня и для всякой боголюбивой души), по которому из достигавших совершенства прежде пришествия Христова никто не достигал этого без веры во Христа. Ибо Слово, хотя ясно открылось уже впоследствии, в определенное время, однако же умам чистым было ведомо и прежде, как показывают многие прославленные до Христа. Почему и Маккавеев нельзя унижать за то, что страдали прежде Креста. Но поскольку пострадали по закону крестному, то и достойны похвал, и должны быть почтены словом, почтены не для того, чтобы получила приращение собственная их слава (слово прибавит ли славы тем, чьи дела славны?), но чтобы прославились восхваляющие и поревновали доблестям их слышащие, в воспоминании о них находя для себя побуждение к равным подвигам.

Кто и откуда были Маккавеи, чьим руководством и наставлением пользуясь вначале, достигли такой доблести и славы, что почтены этими ежегодными торжествами и собраниями, и что для них в душе каждого соблюдается слава, которая выше видимого прославления, — все это для людей любопытных и трудолюбивых покажет сочиненная о Маккавеях книга, которая, любомудрствуя о том, что разум есть самовластитель над страстями и господин наклонностей к тому и другому, то есть к добродетели и пороку, в доказательство этого, между немалочисленными другими свидетельствами, приводит и подвиги Маккавеев. А для меня достаточно будет сказать следующее.

Здесь Елеазар — первый из пострадавших до Христа (как Стефан — первый из страдавших после Христа), иерей и старец, седой власами, седой и мудростью, приносивший прежде жертвы и молитвы за народ, а теперь приносящий самого себя Богу в жертву совершеннейшую, в очищение всего народа. Благознаменательное предначинание подвига! вместе и велегласное и безмолвное назидание! Но он приводит и семерых юношей — плод собственных его наставлений, *жертву живую, святую, благоугодную Богу* (Рим. 12,1), жертву, которая славнее и чище всякого подзаконного священнодействия. Ибо доблести сынов вменять отцу — всего законнее и справедливее.

Там сыны, мужественные и великие духом, благородные отрасли благородной матери, ревностные подвижники за истину, достойные времен не Антиоховых, истинные ученики Моисеева закона, точные блюстители отечественных нравов, составляющие одно из чисел, уважаемых евреями, — число, отличенное таинством семидневного покоя, одним дышат, одно имеют в виду, один знают путь жизни — умереть за Бога! Они столько же братья по душе, как и по плоти, ревнуют друг другу в желании смерти (дивное зрелище!); как сокровища, предвосхищают один у другого мучения, твердо стоят за пестуна, то есть за закон, не столько боятся уготованных им мук, сколько желают тех, которых еще не видят; одного только страшатся, чтобы мучитель не прекратил истязаний, чтобы кому-либо из них не остаться неувенчанным, не разлучиться поневоле с братьями и не стать худым победителем, избежав, к несчастью, страданий.

Там мать бодрая и мужественная, вместе чадолюбивая и боголюбивая, терпит в материнском сердце терзания, невероятные по природе. Она не о страждущих сынах жалеет, но мучится опасением, что сыновья не будут страдать; не столько скорбит об отошедших, сколько желает, чтобы присоединились к ним оставшиеся; у нее больше заботы о последних, нежели о преставившихся; потому что одним предстоит еще сомнительная борьба, а других кончина сделала безопасными; одних она вручила уже Богу, о других еще беспокоится, как примет их Бог. Какая мужественная душа в женском теле! Какое чудное и великодушное усердие! Подлинно — Авраамова жертва, и, если не дерзко будет сказать, даже больше Авраамовой! Авраам охотно приносит единого сына, правда, — единородного, рожденного по обетованию, — сына, для которого дано было обетование и (что важнее) который назначен быть начатком и корнем не только рода, но и подобных жертв, она же освятила Богу целый народ сынов; она и матерей и жрецов превзошла числом жертв, готовых на заклание всесожжений умных священноприношений, поспешающих к алтарю. Она указывала на грудь, напоминала о питании, свидетельствовалась сединой, употребляла старость в ходатайство за свои прошения, не для того, чтобы спасти детей от смерти, но чтобы побудить их к страданиям; потому что почитала для них опасностью не смерть, но замедление смерти. Ничто ее не колебало, ничто не приводило в расслабление, не лишало радости: ни приготовленные деревянные дыбы, ни поставленные колеса, ни блоки, ни подмостки, ни острота железных когтей, ни изощренные мечи, ни кипящие котлы, ни разведенный огонь, ни грозный мучитель, ни стечение народа, ни окружающая воинская стража, ни предстоящие соплеменники, ни расторжение членов, ни терзание плоти, ни потоки текущей крови, ни погубляемая юность, ни настоящие ужасы, ни ожидаемые страдания. И что для других бывает всего тяжелее в подобных случаях, то есть продолжительность бедствия, то для нее было всего легче. Она услаждалась зрелищем, как ни длились страдания, не только от разнообразия употребляемых истязаний (которые все действовали на нее менее, нежели на другого подействовало бы одно какое-нибудь истязание), но и оттого, что гонитель испытал все роды речи, — то ругал, то грозил, то ласкал. Ибо к каким средствам ни прибегал он, чтобы достигнуть желаемого?

Но ответы юношей мучителю, по моему мнению, столько показывают мудрости и мужества, что как доблести других, взятые вместе, малы в сравнении с их терпением, так и само терпение мало в сравнении с благоразумными их речами. И им только одним свойственно было так страдать и с таким любомудрием отвечать на угрозы мучителя, на все, чем их устрашали, и что нимало не преодолело ни мужественных сынов, ни еще более мужественной матери. Она, став выше всех и с материнской любовью соединив силу духа, приносит себя в прекрасный погребальный дар детям; и сама последует за отошедшими прежде нее. И притом как? Добровольно идет на страдания, не допустив даже, чтобы нечистое тело прикоснулось к ее чистой и мужественной плоти. И какие произносит она надгробные слова! Прекрасны, даже прекраснейшие из прекрасных были ответы сынов мучителю. Ибо не прекрасны ли те речи, вооружась которыми, низлагали они мучителя? Но еще прекраснее речи матери, сперва увещательные, а потом надгробные.

Итак, что же произнесено было сынами? Теперь весьма благовременно возобновить это в вашей памяти, чтобы иметь вам из этих времен образец как подвижничества, так и мученических речей. Каждый из братьев говорил что-нибудь свое, как ополчали его слово гонителя, очередь страдания и душевная ревность. Но если все речи их привести в одну, то говорили они так: «Антиох, и вы все предстоящие здесь! У нас один царь — Бог, от Которого получили мы бытие и к Которому возвратимся; один законодатель — Моисей, которому (клянемся в том бедствиями, какие претерпел он за добродетель, и многими его чудесами) мы не изменим и не нанесем бесславия, хотя бы угрожал другой Антиох, который и тебя свирепее. Для нас одно безопасное прибежище — соблюдать заповеди и не нарушать закона, которым ограждаемся как истиной. У нас одна слава — для славы нашего закона презирать всякую славу; одно богатство — те блага, которых надеемся. А страшного для нас нет, кроме одного — убояться чего-либо больше Бога. С такими мыслями и с таким оружием выступаем мы на брань; с такими юношами имеешь ты дело. Хотя вожделенны для нас и мир этот, и родная земля, и друзья, и сродники, и сверстники, и этот великий и славный храм, и отеческие праздники, и таинства, и все, в чем поставляем свое преимущество перед другими народами, однако же не вожделеннее Бога и страданий за доброе дело. Нет, и не думай этого! Ибо для нас есть другой мир, который выше и постояннее видимого. Наше отечество — горний Иерусалим, которого никакой Антиох не отважится держать в осаде и не понадеется взять; так он крепок и неодолим! Наше родство — Божие вдохновение и все доблестно рожденные. Наши друзья — пророки и патриархи, служащие для нас образцом благочестия. Наши сверстники — все ныне бедствующие и современные нам в терпении. А храмом у нас великолепное небо; и празднество наше — ликостояния Ангелов. У нас одно великое, даже величайшее, и для многих сокровенное таинство — Бог, Который есть цель и здешних таинств. Итак, не обольщай больше нас обещаниями вещей маловажных и ничего не стоящих. Не придаст нам чести бесчестное; не обогатит нас вредное; мы не решимся на такую жалкую куплю. Прекрати свои угрозы; иначе, мы сами станем грозить тебе, чтобы обличить твое бессилие и показать, какие у нас готовы тебе казни. Ибо есть у нас и огонь, которым мучим гонителей. Не думаешь ли, что борешься с народами, городами и самыми изнеженными царями, из которых одни одержат верх, а другие, может быть, останутся и побежденными, потому что для них не такого рода опасность? Ты восстаешь против Божия закона, против благоначертанных скрижалей, против наших отеческих постановлений, получивших важность и по своему высокому значению, и по давности, восстаешь против семи братьев, которые живут как бы одной душой и опозорят тебя семью победными памятниками. Не важное дело — победить их; но великий стыд — потерпеть от них поражение! Мы потомки и ученики тех, которых путеводил столп огненный и облачный, для которых расступилось море, стала река, остановилось солнце, дождем был хлеб, воздеяние рук обращало в бегство тысячи врагов, низлагая их молитвой, перед которыми укрощались звери, к которым не прикасался огонь, которых мужеству дивились и уступали цари. Скажем нечто и тебе самому известное: мы ученики Елеазара, мужество которого тобой изведано. Сперва совершил свой подвиг отец, теперь вступают в борьбу дети; жрец уже отошел, вслед за ним пойдут и жертвы. Ты устрашаешь многим, но мы готовы еще на большее. Да и что сделаешь нам своими угрозами, горделивец? Какое причинишь нам зло? Никто не превзойдет крепостью готового на все страдания. Что ж медлит народ? Почему не приступают к делу? Для чего ожидать милостивого повеления? Где мечи? Где оковы? Пусть разводят больше огня, выпускают самых сильных зверей, готовят самые отличные орудия мучений, чтобы все было по-царски и стоило дорого! — Я первородный; меня принеси прежде в жертву. — Я последний из братьев, лучше изменить порядок. — Нет, пусть кто-нибудь из средних сделается первой жертвой, чтобы все мы были почтены равно. Но ты щадишь и ждешь, что переменим мысли. Еще, и не раз повторяем тебе то же слово: мы не вкусим нечистого, не изъявим своего согласия; скорее ты уважишь наши постановления, нежели мы покоримся твоим; короче сказать: или изобрети новые казни, или убедись, что мы презираем те, которые ты нам приготовил».

Так говорили братья мучителю; а как убеждали они друг друга! и какое представляли собой зрелище — подлинно прекрасное и священное! Для душ боголюбивых оно приятнее всего, что только можно видеть и слышать. Я сам, при одном воспоминании, исполняюсь удовольствием, созерцаю перед собой мысленно подвижников и услаждаюсь повествованием о них. Они обнимали и лобызали друг друга; для них наступил праздник, как бы по совершении уже подвигов. «Пойдем, братья, — взывали они, — пойдем, поспешим на мучения, пока мучитель пылает еще на нас гневом, чтобы нам не утратить спасения, если он смягчится. Пир готов; не лишим себя его. Прекрасно видеть братьев, которые живут *вместе* (Пс. 132, 1), вместе веселятся и служат друг другу щитом, но еще прекраснее, если они вместе бедствуют за добродетель. Если бы за отеческие постановления можно было бороться с оружием в руках — и в таком случае смерть была бы похвальна. Но поскольку не этого требуют обстоятельства, то принесем в жертву сами тела. Да почему же и не пожертвовать ими? Если не умрем теперь, то разве никогда не умрем? Разве никогда не воздадим должного природе? Лучше обратим в дар, что надобно уступать по необходимости: перехитрим смерть; всем общее обратим в свою собственность и ценой смерти купим жизнь. Ни один из нас да не будет животолюбив и робок. Пусть мучитель, преткнувшись о нас, отчается и в других. Пусть сам он назначает порядок, кому за кем страдать; если кто и заключит собой ряд гонимым, — это не сделает различия в горячности нашего усердия. Первый из пострадавших да будет для других путем, а последний — печатью подвига. Все с равной твердостью положим на сердце, чтобы целым домом приобрести нам венцы, чтобы гонитель не имел в нас ни единой доли и не мог, в кипении злобы, похвалиться победой над всеми, победив одного. Докажем, что мы друг другу братья не только по рождению, но и в самой смерти; постраждем все, как один и каждый из нас да постраждет равно всем. Прими нас, Елеазар, последуй за нами, мать; погреби великолепно мертвецов своих Иерусалим, если только останется что для гроба; рассказывай о нас последующим родам и чтителям твоим показывай священное место погребения единоутробных».

Так говорили и действовали они, так по старшинству лет поощряли друг друга, подобно тому, как вепрь острит один зуб другими. Все они сохраняли одинаковую ревность, к удовольствию и удивлению единоплеменников, на страх и ужас врагам. И враги хотя смело ополчились против целого народа, но единодушием семи братьев, подвизающихся за благочестие, столь были посрамлены, что теряли уже приятную надежду одолеть и прочих.

А мужественная и подлинно достойная таких доблестных сынов мать, эта великая и высокая духом питомица закона, порываемая двумя сильными движениями сердца, ощущала в себе смешение и радости, и страха — радости, по причине мужества сынов и всего ею видимого, — страха, по неизвестности будущего и по причине чрезмерных мучений. И как птица, которая видит, что змея ползет к птенцам или другой кто злоумышляет против них, она летала вокруг, била крылами, умоляла, разделяла страдания детей. И чего ни говорила, чего ни делала, чтобы воодушевить их к победе! То похищала капли крови, то поднимала отторженные части членов, то благоговейно припадала к останкам; собирала члены одного сына, а другого отдавала мучителям, и третьего приготовляла к подвигу. Всем возглашала: «Прекрасно, дети! Прекрасно, доблестные мои подвижники, почти бесплотные во плоти, защитники закона моей седины и святого града, который вас воспитал и возвел на такую высоту доблестей! Еще немного; и мы победили! Мучители утомились — этого одного боюсь. Еще немного; и я — блаженная из матерей, а вы — блаженные из юношей! Но вам жалко разлучиться с матерью? Не оставляю вас; обещаю вам это. Я не ненавистница детей своих».

Когда же она увидела, что все скончали жизнь и своей смертью избавили ее от беспокойств, тогда со светлым взором подъемлет голову и подобно олимпийскому победителю, с бодрым духом воздавши руки, громко и торжественно говорит: «Благодарю Тебя, Отче Святый! Благодарю Тебя, наставник наш — закон! Благодарю тебя, наш отец и поборник чад твоих Елеазар! Благодарю, что принят плод болезней моих, и я сделалась матерью, священнейшей из матерей! Ничего не осталось у меня для мира; все отдано Богу, — все мое сокровище, все надежды моей старости. Какая великая для меня почесть! Как прекрасно обеспечена старость моя! Теперь я вознаграждена за воспитание ваше, дети, — видела, как подвизались вы за добродетель, сподобилась увидеть всех вас увенчанными; даже на истязателей ваших смотрю как на благодетелей; готова свидетельствовать благодарность мучителю за это распоряжение, по которому соблюдена я для страданий последняя, чтобы, изведя прежде на позорище рожденных мной и в каждом из них совершив мученический подвиг, по принесении всех жертв, перейти мне отсюда в полной безопасности. И я не буду рвать на себе волос, раздирать одежды, терзать ногтями плоти, не стану возбуждать к слезам, созывать плачущих, заключаться в темное уединение, чтобы сам воздух сетовал со мной, не буду ожидать утешителей и предлагать хлеба скорби. Все это прилично матерям малодушным, которые бывают матерями только по плоти, у которых дети умирают, не оставив по себе доброго слова. А вы у меня, любезнейшие дети, не умерли, но принесены в дар Богу; не навсегда разлучились со мной, но только переселились на время; не расточены, но собраны вкупе; не зверь похитил вас, не волна поглотила, не разбойник погубил, не болезнь сокрушила, не война истребила, и не другое какое-либо постигло вас бедствие, более или менее важное из обычных людям. Я стала бы плакать, даже горько плакать, если бы случилось с вами что-либо подобное. Тогда бы слезами доказала я свое чадолюбие, как доказываю ныне тем, что не проливаю слез. Мало этого. Тогда бы я действительно стала оплакивать вас, когда бы вы к вреду своему спаслись от мучения, когда бы мучители восторжествовали над вами и одержали верх хотя над одним из вас, как теперь побеждены вами сами гонители. А что совершилось ныне — это похвала, радость, слава, ликование и веселье для оставшихся. Но и я приношусь в жертву вслед за вами. И я буду сравнена с Финеесом, прославлена с Анной. Даже еще больше, потому что Финеес ревновал один, а вы явились многочисленными карателями блудников, поразив блудодеяние не плотское, но духовное; и Анна посвятила Богу одного, Богом же данного, притом недавно рожденного сына; а я освятила семерых возмужавших, и притом пожертвовавших собой добровольно. Да восполнит мое надгробное слово Иеремия, не оплакивающий, но восхваляющий преподобную кончину! Вы *были чище снега, белее молока,* и лучше *коралла* стал сонм ваш — рожденные и принесенные в дар Богу (Плач. Иер. 4,7)! Что же еще? Присоедини и меня к детям, мучитель, если и от врагов можно ждать милости. Присоедини и меня, — такая борьба будет для тебя славнее. О как бы желала я претерпеть все те муки, какие терпели они, чтобы кровь моя смешалась с их кровью и старческая плоть — с их плотью! Для детей люблю сами орудия их страданий. Но если не будет этого: по крайней мере прах мой да соединится с их прахом, и один гроб да приимет нас! Не позавидуй равночестной кончине тех, которые равночестны по доблестям. Прощайте, матери, прощайте, дети! И матери так воспитывайте рожденных вами, и дети так воспитывайтесь! Прекрасный пример подали мы вам, как подвизаться подвигом добрым». Так сказала она и приложилась к сынам своим. Но как? — спросите. — Как на брачное ложе, востекши на костер, на который была осуждена. Не стала ждать, чтобы кто-нибудь возвел ее, не попустила, чтобы нечистое тело коснулось ее чистой и мужественной плоти.

Так Елеазар насладился священством; так сам был посвящен и других посвятил в небесные таинства: не внешними кроплениями, но собственной кровью, освятил Израиля и последний день жизни сделал совершительным таинством! Так сыны насладились юностью; не сластолюбию раболепствуя, но возобладав над страстями, очистили тело и преставились к бесстрастной жизни! Так мать насладилась многочадием, так украшалась детьми при жизни их и опочила вместе с отошедшими! Рожденных для мира представила она Богу, по числу их подвигов вновь исчислила свои болезни рождения, и старшинство детей узнала из порядка, в каком они умирали; потому что подвизались все, от первого до последнего, и как волна следует за волной, так они — один за другим оказали доблесть, и один готовее другого шел на страдания, уже укрепленный примером перед ним пострадавших. А поэтому мучитель был рад, что она не была матерью большего числа детей; иначе остался бы еще более посрамленным и побежденным. И тогда только в первый раз узнал он, что не все можно преодолеть оружием, когда встретил безоружных юношей, которые, ополчившись одним только благочестием, с большею ревностью готовы были все претерпеть, нежели с какой готовился сам он подвергнуть их страданиям.

Такая жертва была благоразумнее и величественнее жертвы Иеффая; потому что здесь ни пламенность обета, ни желание нечаемой победы не делали приношения, как там, необходимым; напротив, совершенно добровольное жертвоприношение, и наградой за него служили одни уповаемые блага. Такой подвиг ничем не ниже подвигов Даниила, который предан был на съедение львам и победил зверей воздеянием рук; он не уступает мужеству отроков в Ассирии, которых ангел оросил в пламени, когда не согласились они нарушить отеческого закона и не прикасались к скверным и неосвященным снедям. А по усердию не маловажнее он и тех жертв, какие впоследствии принесены за Христа. Ибо страдавшие за Христа, как сказал я в начале слова, имели перед очами кровь Христову, и вождем их в подвигах был сам Бог, принесший за нас столь великий и чудный дар; а Маккавеи не имели перед собой ни многих, ни подобных примеров доблести. Их терпению дивилась вся Иудея; она радовалась и торжествовала, как будто бы сама была тогда увенчана; потому что и ей предлежал при этом подвиг, даже величайший из подвигов, когда-либо предстоявших Иерусалиму, — или видеть в этот день попрание отеческого закона, или прославиться. Участь всего еврейского рода зависела от подвига Маккавеев и находилась как бы на острие меча. Сам Антиох изумлялся; так угрозы его превратились в удивление; потому что великим подвигам умеют дивиться и враги, когда пройдет гнев, и дело оправдывает само себя. Поэтому он удалился, не получив успеха, и каясь много, хвалил отца своего Селевка за уважение к иудейскому народу и за щедрость к храму, так сильно укорял Симона, побудившего к войне, признавая его виновником бесчеловечия и бесславия.

Будем подражать Маккавеям, и священники, и матери, и дети; священники — в честь Елеазара, духовного отца, показавшего превосходнейший пример и словом и делом; матери, в честь мужественной матери, да окажутся истинно чадолюбивыми, и да представят чад своих Христу, чтобы сам брак освятился таковой жертвой; дети да почтят святых юношей и да посвящают время юности не постыдным страстям, но борьбе со страстями, мужественному ратоборству с ежедневным нашим Антиохом, который воюет посредством всех членов наших и многоразлично гонит нас. Ибо желаю, чтоб были подвижники для всякого времени и случая, из всякого рода и возраста, подверженного и явным нападениям и тайным наветам врагов. Желаю, чтобы пользовались древними указаниями, но пользовались также и новыми, и подобно пчелам, отовсюду собирали полезнейшее в состав единого сладкого сота, дабы и через Ветхий и через Новый Завет прославлялся в нас Бог, славимый в Сыне и в Духе, знающий Своих и знаемый своими, исповедуемый и исповедующий, прославляемый и прославляющий в самом Христе, Которому слава вовеки. Аминь.

# СЛОВО 18. Сказанное в похвалу отцу и в утешение матери Нонне в присутствии св. Василия, к которому обращено вступление к данному слову

*Человек Божий* (Иис. Нав. 14,*6),верный раб*(Чис. 12, *1),строитель тайн Божиих(1* Кор. 4,1)*муж желаний* (Дан. 10,11) и притом духовных! Так именует Писание преуспевших и высоких по жизни, ставших выше видимого. Но назову тебя *еще богом Фараону* (Исх. 7,1), всей египетской и сопротивной силы, *столпом* *и утверждением* (1 Тим. 3,15) Церкви, Господней волей (Ис. *62,*4), *светилом в мире, содержащим слово жизни* (Фил. 2,15. 16), опорой веры, обители Духа. И могу ли перечислить все наименования, какие дала тебе добродетель, с каждым своим видом принося и усваивая новое имя? Скажи однако же, откуда приходишь и что *твое делание* (Иоан. 1,8)? Что намерен ты совершить для нас? Ибо знаю, что все предпримешь ты с Богом, по Божию внушению и для блага встречающих тебя. Зачем приходишь? Наели посетить? Найти ли пастыря? Или обозреть паству?

Мы почти не существуем, а большей частью бытия с ним переселились отсюда, тяготимся *землей* *озлобления* (Пс. 43,20), особенно же ныне, когда сведущий кормчий, или светильник нашей жизни, свыше указывавший нам спасение, чтобы, взирая на него, направляли мы путь свой, этот пастырь со всеми доблестями, со всей пастырской опытностью, какую приобретал долгим временем, оставил нас, исполненный дней благоразумия и, если можно сказать словами Соломона*, увенчанный славой старости* (Притч. 16,31). Паства в недоумении и смущении. И видишь, какого уныния, какой печали она исполнена, потому что не *покоится уже на злачных пажитях, не воспитывается на воде тихой* (Пс. 22,2), но ищет стремнин, пустынь и пропастей, где может рассеяться и погибнуть; не надеется получить когда-либо другого разумного пастыря, и вполне уверенная, что не получит равного почившему, желала бы, по крайней мере, иметь хотя и худшего, но не многим.

Поскольку же, как сказал я, три причины, и каждая в равной мере, делают присутствие твое необходимым, то есть мы, пастырь и паства, то всем подай приличное, по живущему в тебе духу служения, и *устрой слово на суде* (Пс. 111,5), чтобы мы еще более дивились твоей мудрости. Но как устроить тебе слово? Восхвали почившего, сколько требует его добродетель, не для того только, чтобы в надгробный дар чистому принести чистое слово, но и для того, чтобы другим представить жизнь его в образец и в урок благочестия, А нам кратко преподай любомудрое учение о жизни и смерти, о соединении и разлучении души с телом, о двух мирах, о мире настоящем и непостоянном и о мире умосозерцаемом и всегда пребывающем; убеди нас презирать в первом все обманчивое, нестройное, беспорядочное, подобно волнам, то вверх, то вниз влекущее и увлекаемое, прилепляться же к тому, что есть в последнем незыблемого, постоянного, боголепного, всегда одинакового, не подлежащего никаким тревогам и замешательствам. Ибо будем меньше скорбеть, и даже еще радоваться, об отходящих от нас, когда слово твое, отвлекши нас от земного, возведет к горнему, настоящие огорчения закроет будущим и удостоверит, что и мы сами поспешаем к благому Владыке, что водворение лучше пришествия, что каково для пловцов тихое пристанище, таково для обуреваемых в здешней жизни преставление и преложение в жизнь будущую, или, сколько удобств и облегчения чувствуют совершившие дальний путь в сравнении с теми, которые испытывают еще трудности и неприятности путешествия, настолько участь постигших небесной гостиницы лучше и спокойнее участи идущих еще по негладкому и стремнистому пути этой жизни.

Так можешь утешать нас. Но чем утешить паству? Во-первых, обещай ей свое покровительство и руководство; ибо всем хорошо покоиться под твоими крылами, и мы гласа твоего жаждем больше, нежели томимые естественной жаждой — чистого источника. Во-вторых, уверь, что и теперь не оставил нас добрый пастырь, полагавший душу за овец, но до сих пор с нами и пасет, и путеводит нас, и знает своих, и свои его знают, хотя невидим телесно, но сопребываем духовно, воюет за паству с волками и никому не дозволяет — разбойнически или коварно перескакивать через двор овчий, чуждым глазом отвлекать и похищать души, право наставления в истине. А я уверен, что теперь молитвами произведет он больше, нежели прежде учением; поскольку стал ближе к Богу, сложив с себя телесные оковы, освободившись от бренного, омрачающего ум, непокровенным представ к непокровенному первому и чистейшему Уму, сподобившись (если могу так смело выразиться) ангельского чина и дерзновения.

Все это сам ты, по данной тебе силе слова и духа, и расположишь, и восполнишь любомудрием гораздо лучше, нежели как мог бы я предначертать. Но чтобы, по неведению доблестей пастыря, не слишком сократилось слово о достоинстве его, сделаю в малом виде некоторый очерк похвалы усопшему, воспользовавшись тем, что мне известно о нем, и передам это тебе, как превосходному описателю таких предметов, дабы ты вполне изобразил красоту его добродетели и сообщил во услышание и назидание всем.

По правилам похвального слова надлежало бы говорить о роде, отечестве, телесных совершенствах, внешней знаменитости и о чем еще высоко думают люди. Но я, оставляя это, начну с того, что для нас первоначальнее и всего ближе, и скажу (не стыдясь прежнего, ибо надеюсь на последнее), что он был отростком корня не весьма похвального, не принесшего плодов благочестия, не в дому Божием насажденного, но весьма странного и чудовищного, который составился из двух противоположностей — из языческого заблуждения и подзаконного мудрования, допустив в себе некоторые части того и другого, а некоторые устранив. Последователи этого учения, отвергая идолов и жертвы, поклоняются огню и светильникам, а уважая субботу и до мелочи соблюдая постановления о животных, не принимают обрезания. Ипсистариями называются эти невысокие по верованию люди и чтут единого Вседержителя. Но что же является из человека, который возрос как бы в сугубом нечестии? Не знаю, что более восхвалить, благодать ли, его призвавшую, или собственное его произведение? По крайней мере, так он очистил умное око от покрывавшей его нечистоты и с такой скоростью устремился к истине, что для небесного Отца и для истинного наследия решился — до времени быть оставленным от матери и лишенным имущества, и бесчестие это принял охотнее, нежели иной самые высокие почести. Но сколь это ни удивительно, я менее дивлюсь этому. И почему? Потому что и многие другие приносили подобные пожертвования, и всем надлежит взойти в великий невод Божий (Матф. 13,47), всех должно уловить слово рыбарей, хотя Евангелие берет в плен одних раньше, других позже.

Но считаю нужным сказать о том, что представляется мне в нем наиболее удивительным. Еще не одного с нами будучи двора, он был уже нашим; ибо к нам принадлежал по своим нравам. Как многие из наших бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу; так многие из не принадлежащих к нам бывают наши, поскольку добрыми нравами предваряют веру, и обладая самой вещью, не имеют только имени. Из числа последних был мой отец — ветвь еще чуждая, но по жизни преклоненная к нам. Он столько отличался целомудрием, что был вместе и весьма любезным и самым скромным, хотя трудно сойтись обоим этим качествам. А правдивость его имеет ли нужду в сильнейшем и очевиднейшем доказательстве, когда знаем, что он, проходя первые должности в государстве, не приумножил своего имения и одной драхмой, хотя видел, что другие на общественное достояние налагают Бриареевы руки и пухнут от гнусных поборов; ибо так называю неправедное обогащение? Но то же самое служит немалым доказательством и благоразумия; впрочем оно еще более обнаружится последующим словом. Саму веру, как рассуждаю, получил он в награду за эти добродетели. И я объясню, каким именно образом получил ее; потому что неприлично умалчивать о деле столь важном.

*Жену добродетельную кто найдет* (Притч. 31,10)? — говорит, как слышу, Божественное Писание. Это дар Божий, и Господь устраивает доброе супружество. Так рассуждают даже язычники; их изречение, что для человека прекраснейшее приобретение — добрая жена, и всего хуже — злая. И нельзя сказать, чтобы в этом отношении был кто-нибудь счастливее отца моего. Думаю, что если бы кто, ища для себя совершеннейшего супружества, обошел все концы земли и весь род человеческий, то не нашел бы лучшего и согласнейшего. В нем так соединились все превосходные, и мужские и женские, качества, что брак был не только плотским союзом, но не менее того и союзом добродетели. Супруги, превосходя других, не могли превзойти друг друга, потому что в обоих добродетель была одинаковой силы и цены. Жена, данная Адаму *помощником ему* (Быт. 2,18), потому что добро человеку быть не единому, из сотрудницы сделалась врагом, стала не супругой, но противницей, обольстив мужа сластолюбием и древом познания лишив древа жизни. Но жена, данная Богом моему родителю, была для него не только сотрудницей, что еще не очень удивительно, но предводительницей. Она сама, и словом и делом, направляла его ко всему превосходному. И хотя почитала для себя первым долгом, по закону супружества, покоряться мужу во всем другом; однако же не устыдилась быть его наставницей в благочестии. Конечно, достойна она в этом удивления; но еще достоудивительнее покорствующий ей добровольна Если другие жены тщеславятся и превозносятся красотой, как естественной, так и поддельной, то она знала одну красоту, красоту душевную, и старалась сохранять или уяснять в себе, по мере сил, образ Божий, а поддельные и искусственные украшения отвергала, предоставляя их определившим себя на зрелища. Она знала одно истинное благородство — быть благочестивой и знать, откуда мы произошли и куда пойдем; одно надежное и неотъемлемое богатство — жертвовать свое имущество для Бога и для нищих, особенно же для обедневших родственников. Удовлетворить только их нуждам, по ее мнению, значило не прекратить бедствие, а напомнить о нем; благодетельствовать же со всей щедростью почитала она делом, которое могло доставить и ей прочную славу, и им совершенное утешение. Если одни из жен отличаются бережливостью, а другие благочестием, ибо трудно совмещать оба качества, то она превосходила всех тем и другим, и в каждом достигла верха совершенства, и оба умела соединить в одной себе. Попечительностью и неусыпностью, по предписаниям и правилам Соломоновым для жены добродетельной, так она умножила все в доме, как бы вовсе не знала благочестия. Но и столь была усердна к Богу и ко всему Божественному, как бы нимало не занималась домашними делами. Одно не терпело у ней ущерба от другого, но одно другим взаимно поддерживалось. Укрылось ли от нее какое время и место молитвы? Об этом у нее ежедневно была самая первая мысль. Лучше же сказать: кто, приступая к молитве, имел столько упования получить просимое? Кто оказывал такое уважение руке и лицу священников? Кто так высоко ценил всякий род любомудрой жизни? Кто больше, чем она, изнурял плоть постом и бдением? Кто благоговейнее ее стоял во время всенощных и дневных псалмопений? Кто чаще ее восхвалял девство, хотя сама несла брачные узы? Кто был лучшей заступницей вдов и сирот? Кто в такой мере облегчал бедственное состояние плачущих? Да и следующее, для иных может быть маловажное, даже не имеющее никакой цены, как не для многих доступное (ибо что не удобоисполнимо, тому по зависти с трудом и верим), для меня весьма достойно уважения, как изобретение веры и порыв духовного жара. В священных собраниях и местах, кроме необходимых и таинственных возглашений, никогда не слышно было ее голоса. В древности то, что на жертвенник не восходила секира, и при вооружении его не было видно и слышно орудий каменотесов, имело важность по тому высшему знаменованию, что все посвящаемое Богу должно быть естественно и безыскусственно. Почему же и в ней не признать важным того, что чествовала святыню молчанием, никогда не поворачивалась спиной к досточтимой трапезе, не плевала на пол в Божием храме; встретясь с язычницей, никогда не слагала руки с рукой, не прикасалась устами к устам, хотя бы встретившаяся отличалась скромностью и была из самых близких; со вкушавшими нечистой и скверной трапезы, не только добровольно, но и по принуждению, не разделяла соли, не могла, вопреки требованиям совести, пройти мимо, и даже видеть оскверненного дома; ни слуха, ни языка, которыми принимала и вещала Божественное, не оскверняла языческими повествованиями и зрелищными песнями, потому что освященному неприлично все неосвященное? Но и этого удивительнее то, что она, хотя и сильно поражалась горестями, даже чужими, однако же никогда не предавалась плотскому плачу до того, чтобы скорбный глас исторгся прежде благодарения, или слеза упала на вежди, таинственно запечатленные, или при наступлении светлого праздника оставалась на ней печальная одежда, хотя неоднократно и многие постигали ее скорби. Ибо душе боголюбивой свойственно подчинять Божественному все человеческое. Умолчу о делах еще более сокровенных, которым свидетель один Бог и о которых знали разве верные рабыни, бывшие в том ее поверенными. А о том, может быть, не должно и упоминать, что касалось меня; так как я не соответствую ее надеждам, хотя и великих ей стоило усилий, еще до рождения, не страшась будущего, обещать, а по рождении вскоре посвятить меня Богу. Впрочем, Богу так было угодно, что обет ее не вовсе не исполнен и приношение не отвергнуто. Таковые совершенства частью были уже в ней, а частью приумножались и возрастали постепенно. Как солнце и утренними лучами производит самое приятное действие, но полуденные лучи его теплее и светлее; так и она, показавши немалые успехи в благочестии с самого начала, воссияла напоследок обильнейшим светом.

Поэтому введший ее в дом свой, как издревле и от предков боголюбивую и христолюбивую, от отцов получившую в наследство добродетель, а не от дикой маслины, подобно ему, привитую к маслине доброй, — и тогда уже имел немалое побуждение к благочестию. Она, по преизбытку веры, не потерпела быть в союзе с иноверным, и хотя была самая терпеливая и мужественная из жен, однако в том единственно не могла сохранить любомудрие, чтобы одной половиной быть в соединении с Богом, а другой частью самой себя оставаться в отчуждении от Бога. Напротив, она желала, чтобы к союзу плотскому присоединился и союз духовный. А потому день и ночь припадала к Богу, в посте и со многими слезами просила у Него даровать спасение главе ее и неутомимо действовала на мужа, старалась приобрести его различными способами: упреками, увещаниями, услугами, отлучением, а более всего своими нравами и пламенной ревностью о благочестии, чем всего сильнее преклоняется и умягчается сердце, добровольно давая себя нудить к добродетели. Ей надобно было, как воде, пробивать камень, непрестанно падая на него по капле, от времени ожидать успеха в том, о чем старалась, как и показало последствие. Об этом она просила, на это надеялась не столько с жаром юных лет, сколько с горячностью веры. Ибо и на настоящее не полагался никто так смело, как она на уповаемое, по опыту зная щедродаровитость Божию.

Но в деле спасения содействовал ей рассудок, принимавший понемногу врачевание, содействовало и сновидение, каковые Бог нередко посылает в дар душе, достойной спасения. Какое же видение? — Здесь начинается для меня самая приятная часть повествования. Отцу моему представилось, будто бы (чего никогда прежде не делал, хотя и многократно просила и умоляла о том жена) поет он на следующий стих Давида: *возрадовался, когда сказали мне: «в дом Господень пойдем»* (Пс. 121,1). И псалмопение необыкновенно, и вместе с песнью вселяется само желание! А как скоро услышала получившая исполнение желаемого, — пользуется временем, объясняет видение в самую добрую сторону, что было и справедливо; самой радостью своей обнаруживает величие благодеяния и ускоряет дело спасения, дабы не воспрепятствовало что-нибудь призванию и не разрушило того, о чем столько старалась. И как в то время собиралось в Никею большое число архиереев, противостать Ариеву неистовству — этому злу, недавно появившемуся и вводившему раскол в Божестве, то родитель предает себя Богу и проповедникам истины, исповедует перед ними свое желание и ищет у них общего спасения; потому что один из них был знаменитый Леонтий, правивший тогда нашей митрополией.

И здесь по благодати совершилось чудо, умолчав о котором, я много бы погрешил против благодати. Немало людей было свидетелями его. Учителя точности впадают в некоторую духовную ошибку, а благодать прообразует будущее, и к оглашению примешивается образ священства. Подлинно невольное посвящение! Ему велят преклонить колено, и в этом положении совершается он словами оглашения; почему многие из присутствовавших, не только люди высокого ума, но и гораздо их низшие, прорекают будущее, не неясными знамениями будучи удостоверены в имеющем последовать.

В скором времени присоединяется к этому чуду другое. Предложу об этом во услышание одних верных, ибо душам нечистым все прекрасное кажется невероятным. Родитель приступает к возрождению водой и духом, через которое, как исповедуем перед Богом, образуется и совершается человек Христов, земное прелагается в дух и воссозидается. Приступает же к омовению с пламенным желанием, со светлой надеждой, предочистив себя сколько мог, став по душе и по телу гораздо чище готовившихся принять скрижали от Моисея. Ибо их очищение простиралось на одни одежды, состояло в кратковременном целомудрии и в том, чтобы обуздать несколько чрево; а для него вся протекшая жизнь была приуготовлением к просвещению и очищением до очищения, ограждающим дар, дабы совершенство вверено было чистоте и даруемое благо не подвергалось опасности от навыков, противоборствующих благодати. При выходе из воды обнимает его сиянием свет и слава достойная того расположения, с каким приступил он к дарованию веры. Это явственно было и для других. Хотя они сохранили тогда чудо в молчании, не осмеливаясь разглашать, потому что каждый почитал себя одного видевшим, однако же вскоре сообщили о том друг другу. Но тому, кто крестил и совершил его таинством, видение было весьма ясно и вразумительно, и он не мог сохранить его втайне, но всенародно возвестил, что помазал Духом своего преемника.

И да не сомневается в этом никто из слышавших и знающих, что и Моисей был еще мал, а по людскому мнению и вовсе не заслуживал внимания, когда призывается купиной горящей, но не сгорающей, вернее же — Тем, Кто явился в купине, и этим первым чудом утверждается в вере, — тот, говорю, Моисей, у которого рассекается море, дождится хлеб, камень источает воду, столб огненный и облачный попеременно путеводствует, воздеяние рук служит победным знамением и, назнаменуя крест, побеждает многие тысячи. И Исаия, зритель славы и Серафимов, а после него Иеремия, получивший великую силу над народами и царями, — один до пророчества слышит Божий глас и очищается углем (Ис. 6, 7. 8), а другой познается до создания и освящается до рождения (Иер. 1, 5). А Павел, великий проповедник истины, наставник язычников в вере, будучи еще гонителем, обнимается сияющим светом, познает Гонимого, приемлет на себя великое служение и потом наполняет благовествованием всякий слух и разумение. Нужно ли перечислять всех, которые призваны и присвоены Богом через чудеса, подобные тем, какими утвержден в благочестии мой родитель?

И нельзя сказать, что одно начало было таково, так невероятно и необычайно, а последующие дела обесславили чем-нибудь предшествовавшее, как бывает с людьми, которые скоро начинают чувствовать пресыщение в добре и потом не заботятся уже о преуспевании, или и вовсе обращаются к прежним порокам. О нем, говорю, нельзя этого сказать; напротив, он весьма был внимателен к самому себе и к предначатому. В нем все имело взаимное согласие, и бывшее до священства — с преимуществами священства, и бывшее по принятии его — с прежними совершенствами. Не иначе прилично и начинать, как он окончил; не иным чем должно и оканчивать, как тем, с чего он начал.

Он приемлет священство не с такой опрометчивостью, не с таким нарушением порядка, как делается это ныне, но когда ничего уже не было пренебрежено, чтобы, по очищении себя самого, приобрести опытность и силу очищать других, как требует этого закон духовного последования. И когда приемлет, тем больше прославляется в нем благодать как благодать истинно Божия, а не человеческая, и не как самозаконное стремление, или, по выражению Соломона, *томление духа* (Еккл. 1,14). Ибо Церковь, ему вверяемая, уподоблялась пажити, заросшей лесом и одичавшей; она недавно поступила под епископское правление и прежде моего родителя украшалась единым только мужем, который был чудного и ангельского нрава, но очень прост в сравнении с нынешними предстоятелями народов. А как и тот вскоре преставился, то она снова оставалась долгое время в небрежении и от безначалия пришла в запустение. Но родитель мой сначала без большого труда умягчил нравы людей как благоразумными пастырскими наставлениями, так и тем, что себя самого, подобно прекрасно отделанному духовному изваянию, предлагал в образец всякого превосходного дела. Потом, со всем усердием занявшись Божиим словом, хотя и поздно начал учиться, в непродолжительное время приобрел столько мудрости, что нимало не уступал трудившемуся долго и получил от Бога ту особенную благодать, что сделался и учителем Православия, не колеблющимся в разные стороны, смотря по обстоятельствам, как нынешние мудрецы, не обоюдно и ухищренно защищающим наше учение, как поступают люди, не имеющие в себе твердого основания веры или торгующие истиной. Напротив, он был благочестивее сильных в слове и сильнее в слове отличающихся правомыслием; справедливее же сказать — занимая второе место по дару слова, превосходил всех благочестием. Ведая и единого Бога в Троице поклоняемого и три (Ипостаси) в едином Божестве, он не держался ни Савелиева учения об едином, ни Ариева о трех, то есть Божества, как не сокращал и не разлагал безбожно, так и не рассекал на особства, неравные или по величине, или по естеству. Ибо в ком все непостижимо и выше нашего разумения, в том может ли быть постигнуто или объяснено само высочайшее? И как измерять бесконечное, чтобы и Божество, находя в Нем степени приращения и уменьшения, подчинить тому же самому, что свойственно вещам ограниченным? Так рассуждая, этот великий Божий человек, истинный Богослов, не иначе как с Духом святым приступивший к таким предметам, сделал (о другом чем нужно ли и оговорить?), что Церковь эта могла наименоваться новым Иерусалимом и другим ковчегом, носимым по водам, как при великом Ное, отце этого второго мира; особенно же — ковчегом, потому что явно спаслась от потопления душ и устремления еретиков. И в какой мере она уступала другим Церквам числом верующих, в такой же мере превзошла их славой, испытав на себе то же, что и священный Вифлеем, которому ничто не воспрепятствовало быть и малым городом и матерью городов во Вселенной, потому что в нем родился и воспитывался Христос и Творец и Победитель мира.

Доказательством же сказанному служит следующее. Когда мы, вовлеченные в худое общение ухищренным писанием и речением, увидели против нас возмутившимися ревностнейших членов Церкви; тогда в рассуждении его одного были уверены, что он не погрешил мыслью, и чернило не очернило его души, хотя и уловлен по простоте, и имея нековарное сердце, не уберегся от коварства. Он один, или, вернее сказать, — он первый примирил с собой и с другими тех, которые по ревности к благочестию восстали против нас, и как последние ставили нас, так первые возвратились к нам из уважения к Пастырю и сознавая чистоту учения. Так прекращено великое смятение в Церквах и *буря превратилась в тишину* (Пс. 106, 29), удержанная его молитвами и увещаниями; причем (если должно сколько-нибудь похвалиться) и я участвовал в благочестии и деятельности, ибо помогал ему во всяком добром деле и как бы сопутствовал и следил за ним, почему и удостоился совершить большую часть дела. Но на этом да остановится слово, предупредившее несколько порядок событий.

Кто же или исчислит множество его доблестей, или, желая умолчать о некоторых, без труда найдет такие, о которых можно и не говорить? Ибо все, что ни представится вновь уму, оказывается лучшим предшествовавшего, и не могу остановиться на этом. Другие сочинители похвальных слов затрудняются тем, о чем им говорить, а я больше затрудняюсь тем, о чем мне не говорить. Само обилие обращается для меня некоторым образом во вред; и мысль, пытаясь взвесить его дела, сама подвергается испытанию; потому что не в силах найти, которому из равноценных качеств отдать преимущество. Что видим на стоячих водах, когда упадший камень делается средоточием многих один за другим появляющихся кругов, причем каждый образующийся внутри круг непрестанно расторгает собой круги внешние; то же самое происходит теперь и со мной. Едва приходит что-либо на мысль, как уже следует за тем и еще и еще новое; и не успею сделать выбора, как представлявшееся прежде уступило уже место представившемуся вновь.

Кто был ревностнее его в делах общественных? Кто оказал больше любомудрия в делах домашних? Ибо и дом и соразмерное имущество даровал ему Бог, все устрояющий премудро и разнообразно. А к нищим — этой самой презренной части равночестного с нами естества — у кого было сострадательнее сердце, щедрее рука? Действительно, как приставник чужого имущества рассуждал он о собственном, чем только мог облегчая нищету и жертвуя не одни избытки, но и самое необходимое, что, конечно, служит весьма ясным доказательством его нищелюбия. Не только, по закону Соломонову, давал *часть семи* (Еккл. 11, 2), но не рассчитывал, если приходит и восьмой; охотнее расточал, чем иные приобретают; отъял *от себе ярмо и рукобиение* (что, как думаю, означает скупость и разведывания — достоин или нет приемлющий милостыню) и *слова роптания* при подаянии (Ис. 58,9), чем страждут многие, подавая, но без усердия, которое важнее и совершеннее самого подаяния. Ибо гораздо лучше для достойных простирать руку и недостойным, нежели из опасения — встретиться с недостойными, лишать благодеяния и достойных. Это, по моему мнению, и означает то, что надобно посылать хлеб свой даже по воде (Еккл. 11,1); он не рассыплется и не пропадет перед праведным Судьей, но достигнет того места, где положено будет все ваше и где найдем его во время свое, хотя о том и не думаем.

Но всего превосходнее и выше в родителе было то, что он, при равнодушии к богатству, был равнодушен и к славе. И я хочу показать, в какой именно мере и каким образом. И имение и усердие подавать были у него общие с супругой; потому что оба соревновались друг с другом во всем прекрасном. Но большая часть подаяний лежала на ее руках; потому что она в подобных делах была лучшей и вернейшей распорядительницей. И подлинно жена щедролюбивая! Если бы позволили ей черпать из Атлантического, или другого обширного моря, и того бы ей не достало: так велико и непомерно было в ней желание подавать милостыню! Она подражала Соломоновой *пиявице* (Притч. 30,15), только в противном — в ненасыщаемости добрым, препобеждала же в себе алкание худшего и не знал а сытости только в усердии делать добро. Все имущество, какое у них было и какое присовокупилось впоследствии, почитала она скудным для своего желания; но если бы можно было, — в пользу нищих (как неоднократно слыхал я от нее) отдала бы себя и детей. А потому родитель ей предоставил подаяния в полную свободу, что, мне кажется, выше всякого примера. Ибо и в другом можно без труда найти равнодушие к богатству; его губят, чтобы заставить о себе говорить и чтобы приобрести значительность в обществе; его дают также в заем Богу через нищих, и в этом единственном случае расточающие сберегают его для себя. Но едва ли скоро найдем человека, который бы уступил другому и саму славу, приобретаемую щедростью. Ибо честолюбие делает многих готовыми к расточительности; но где подаяние не видно, там и тратят неохотно. Так расточала рука моего родителя; а большая часть этих дел его пусть останется известной только знавшим его. Если и обо мне говорят что-либо подобное, оно выходит из того же источника и составляет часть одного потока.

О ком справедливее можно сказать, что он с Богом действовал, когда избирал людей для алтаря, или ревновал о поруганиях ему, или со страхом очищал священную трапезу от неосвященных? Кто с такой непоколебимостью воли, с такой строгой справедливостью судил дела, ненавидел порок, чтил добродетель, предпочитал добродетельных? Кто был настолько снисходителен к согрешающим и оказывал столько пособий благоуспевающим? Кто лучше знал *время жезла* и *палицы* (Пс. 22,4) и чаще действовал палицей? Чьи очи были больше *на верных земли* (Пс. 100,6) и кроме других были на тех, которые в уединении вне брака живут для Бога, презрев землю и все земное? Кто больше обуздывал высокомерие и любил смиренномудрие? И любил не притворно и не напоказ, как многие ныне представляющие из себя мужей любомудрых, и по наружности столь же нарядные, как и те глупые жены, которые, по недостатку собственной красоты, прибегают к румянам и прекрасно (сказал бы я) позорят себя, делаясь безобразнейшими от самого благообразия и гнуснейшими по причине своей гнусности. Но он поставлял смирение не в одежде, а в благоустройстве души; и выражал его не согбением шеи, не понижением голоса, не наклонением вниз лица, не густотой усов, не обритием головы, не походкой; так как все это прикрывает человека не надолго и вскоре изобличается, потому что и все притворное непостоянно. Напротив, он был всех выше по жизни и всех смиреннее во мнении о себе. По добродетели недоступен, а в обращении весьма доступен. Он не отличал себя одеждой, в равной мере избегая и превозношения и уничижения; но внутренним достоинством был выше многих. И хотя не менее всякого другого укрощал недуг и ненасытность чрева, однако же не думал об этом высоко: одно делал для того, чтобы очистить себя; другое, чтобы не возгордиться, привлекая славу новостью. Ибо все делать и говорить с тем, чтобы за это прославляли посторонние, свойственно человеку мирскому, для которого нет иного блаженства, кроме настоящей жизни. А человек духовный и христианин должен иметь в виду одно спасение, и, что ведет к нему, высоко ценить, а что не ведет, презирать, как ничего нестоящее; и потому ни во что ставить все видимое, заботиться же единственно о том, как достигнуть внутреннего совершенства и то почитать выше всего, что может самого сделать наиболее достойным, а через него и других привлечь к совершенству.

Но превосходнейшими качествами в моем родителе, ему преимущественно свойственными и для многих не безызвестными, были простота, нрав, чуждый всякого лукавства, и незлопамятность. И в Ветхом и в Новом Завете видим, что один преуспевал в одном, другой в другом, в какой мере каждый удостаивался получить от Бога какую-либо благодать, например: Иов — твердость и непреодолимость в страданиях; Моисей и Давид — кротость; Самуил — дар пророчества и прозрения в будущее; Финеес — ревность, по которой дано ему и имя; Петр и Павел — неутомимость в проповедничестве; сыны Зеведеовы — велегласие, почему и названы сынами грома. Но для чего перечислять всех? — я говорю знающим. Стефан и отец мой ничем столько не отличались, как незлобием. Первый в опасности жизни не возненавидел убийц, но побиваемый камнями молился за убивающих, как Христов ученик, за Христа страждущий и плодоносящий Богу нечто высшее самой смерти — долготерпение. У последнего не бывало промежутка времени между выговором и прощением, так что скоростью помилования почти закрывалось огорчение, причиненное выговором. Слышим и веруем, что есть дрожжи гнева и в Боге — остаток негодования на достойных этого; *ибо Боже отмщений, Господи* (Пс. 93,1). И хотя по человеколюбию Своему преклоняется Он от строгости к милосердию, однако же не совершенно прощает грешников, чтобы милость не сделала их худшими. Так и родитель мой нимало не питал негодования на огорчивших, хотя и не был вовсе неуязвим гневом, особенно же препобеждался ревностью в делах духовных; кроме тех случаев, когда бывал приготовлен и вооружен, и оскорбительное встречал как врага, усмотренного издали; тогда, как говорится, не поколебали бы его и тысячи. Но и гнев его был приятен, он был не *как яд змеи* (Пс. 57,5), которая воспламеняется внутри, готова к мщению, с первого движения переходит в гнев и желание возмездия, но походил на жало пчелы, уязвляющее, а не умертвляющее. Человеколюбие же его было больше, нежели человеческое. В числе угроз бывали иногда колеса и бичи, являлись исполнители наказания; бывала опасность пожатия ушей, удара в щеку, поражения в челюсть; и тем прекращалась угроза. С преступника совлекали одежду и обувь, распростирали его по земле, и потом гнев обращаем был не на обидчика, а на того, кто усердно содействовал, как на служителя злу. Мог ли кто быть его милостивее и достойнее приносить дары Богу? Нередко едва приходил в раздражение, как уже прощал раздражившего, стыдясь его падений, как своих собственных. Роса дольше выдерживает солнечный луч, падающий на нее утром, чем в нем удерживался какой-либо остаток гнева. Напротив, едва начинал говорить, как со словами проходило и негодование, оставляя после себя одну доброту. Да и никогда не продолжалось его негодование по захождении солнца, не питало гнева, который губит и благоразумных, не оставляло худых следов в теле, но сохранялось спокойствие и среди самого возмущения. А потому он испытал на себе ту необычайность, что хотя неон один подвергал наказаниям, однако же его одного любили и уважали наказываемые; потому что он побеждал вспыльчивость милостью. И действительно, терпеть наказание от праведного лучше, нежели умащаться елеем нечестивого. Ибо сама суровость одного приятна по причине пользы, а милость другого подозрительна по причине его злонравия.

Но при таких душевных качествах, имея нрав простой и богоподобный, родитель мой был для оскорбителей несколько и страшен своим благочестием; вернее *же* сказать, всего более поражала их сама пренебрегаемая ими простота. Ибо не произносил он ни одного слова, молитвенного или клятвенного, за которым бы не последовало тотчас или долговременное благо, или временная скорбь. Но первое выходило из глубины души, а последнее являлось только на устах, и было одно отеческое вразумление. Так многих из огорчивших его постигло не позднее воздаяние и не сзади идущее правосудие, как сказано у стихотворца, но они были поражаемы при первом движении гнева, раскаивались, притекали к нему, падали на колени, получали прощение и отходили прекрасно побежденными, исправившимися, уцеломудренными и прощенными. Ибо и прощение нередко ведет к спасению, обуздывая обидчика стыдом, из состояния страха приводя его в чувство любви и самое твердое благорасположение. Вразумления же бывали различны; иных бросали вверх волы, сдавленные ярмом и нечаянно набежавшие, чего не случалось с ними прежде; других повергали на землю и топтали кони, дотоле самые покорные и смирные; а некоторых постигла сильная горячка и мучили мечтания о собственных проступках. Для иных бывали вразумления и другого рода, и претерпеваемое ими научало их послушанию.

Такова и столь известна была в родителе моем кротость! Но кому же уступал он в искусстве вести дела и в деятельности? Конечно, никому. Напротив, хотя он был кроток в большей мере, нежели кто-либо другой, однако же при кротости был и деятелен. Хотя простота и суровость суть два качества, больше всего одно другому противящиеся и противоположные, потому что первая при кротости не деятельна, а другая при деятельности не человеколюбива; впрочем в нем оба эти качества были соединены чудным образом. В ходатайствах, представительствах и во всех делах правления он действовал, как человек строгий, но с кротостью, и уступал, как человек недеятельный, но с искусством. Соединяя в себе мудрость змеи в рассуждении зла и незлобие голубя в рассуждении добра, он не попускал и благоразумию делаться злотворным, и простоте доходить до слабоумия, но из обоих совершенств, как можно было лучше, оставил одну добродетель. Что же удивительного, если при таких доблестях, так священноначальствуя и снискав у всех такую славу, удостоился он наконец и знамений, каковыми Бог утверждает благочестие?

Вот одно из совершившихся на нем чудес. Он страдал недугом и изнемог в телесных силах. Да и удивительно ли, что святые подвергаются страданиям? Это нужно или для очищения даже малой нечистоты, или для испытания в добродетели и для искуса в любомудрии, или для назидания более немощных, чтобы на их примере учились терпению и не унывали в страданиях. Итак, он был болен, а наступило время святой и преславной Пасхи, этого царя дней, этой пресветлой ночи, рассеявшей греховную тьму, — ночи, в которую при обильном свете празднуем собственное свое спасение, и как умерли с умерщвленным за нас Светом, так и совосстаем с Восставшим. В такое время постигла его болезнь, и она была, скажу не распространяясь, сильная горячка с жаром; вся внутренность пылала, силы оскудели, а пищи не было, сон бежал, больной метался и чувствовал трепетание во всех членах. Во рту вся внутренность, нёбо и что далее нёба, покрылось нарывами, столь болезненными и частыми, что трудно и опасно было проглотить даже воды. Не помогали ни искусство врачей, ни отступные молитвы домашних, ни все другие пособия. В таком положении находился родитель, дышал слабо и едва приметно, не узнавал предстоящих, но весь был занят своей кончиной, тем, чего давно желал и что было ему уготовано. А мы были тогда в храме, славили тайну и молились, ибо, отчаявшись в других способах, прибегли к великому Врачу, к силе настоящей ночи — к этой последней помощи. Но что готовил нам день? Празднество или плач, торжество или погребение не присутствовавшего с нами? Сколько слез пролито тогда всем народом! Сколько слышно было гласов, воплей и песней, соединенных псалмопениями! У святилища просили священника, у таинства — таинника, у Бога — достойного защитника. И это совершилось с предначатия моей Мариамы, ударяющей в тимпан не победный, но молитвенный, и наученный скорбью в первый раз отложить стыд и вопиять к людям и к Богу, умоляя людей разделить горесть сетующей и пролить с нею слезы, а Бога прося услышать молящихся и воспоминая перед Ним все прежние чудеса Его (ибо скорбь изобретательна). Что же творит Бог этой ночи и болящего? Стрепетом приступаю к продолжению повествования; со страхом внимайте и вы, слушатели, а не с сомнением, что и неприлично, когда говорю я о нем. Наступило время тайнодействия, началось благоговейное стояние и чин безмолвного внимания совершаемому; и Животворящим мертвых также силой священной ночи восстановлен болящий. В нем оказывается сперва слабое, потом более сильное движение, после этого, весьма тихим и невнятным голосом назвав по имени одного из предстоящих служителей, велит ему подойти, подать одежду и поддерживать руки. Слуга с изумлением подходит и охотно исполняет приказание. Больной, опираясь на его руки, как на жезл, подражает Моисею на горе, и изнемогшие руки устроив на молитву, вместе с народом своим усердно совершает таинство, или даже предначинает совершение краткими, сколько мог, словами, но наисовершеннейшим, как я думаю, умом. И какое чудо! Без алтаря предстоит алтарю, без жертвенника жрец, священнодействующий вдали от священнодействуемого! Но и оно предложено было ему Духом Святым, что и сознавал сам он, но не видели этого присутствующие. Потом, произнеся, как следует, слова Благодарения и благословив народ, возлегает он опять на одр и, приняв несколько пищи, также вкусив сна, обновляется в силах. Между тем, пока возрастало и укреплялось понемногу здоровье, — наступил новый день праздника, как именуем первый Господский день, следующий за днем Воскресения. Тогда приходит в храм, со всем церковным собором обновляет спасение и приносит в жертву святые Дары. И это, по моему мнению, чем меньше чуда, совершившегося на Езекии, которого в болезни, по молитве его, прославил Бог прибавлением лет жизни, и это самое, по прошению исцеленного, ознаменовал возвращением тени на несколько степеней, почтив таким образом царя вместе и благодатью и знамением, прибавлением долготы дня уверив в прибавлении дней жизни?

Через некоторое время совершилось подобное чудо и над моей матерью, также достойное того, чтобы не умалчивать о нем. Ибо, приобщив здесь повествование об этом, сколько почтим ее, достойную всякой чести, столько благоугодим и родителю. Мать моя всегда была крепка и мужественна, всю жизнь не чувствовала недугов; но и ее постигает болезнь. Из многих страданий, чтобы не затягивать слова, назову самое тяжкое — отвращение от пищи, продолжавшееся многие дни и неизлечиваемое никаким способом. Как же питает ее Бог? Не манну ниспосылает, как издревле Израилю; не камень разверзает, чтобы источить воду жаждущим людям; не через вранов питает, как Илию; но через восхищаемого пророка насыщает, как некогда Даниила, томимого голодом во рву. Но каким же образом? Ей представилось, будто бы я, особенно ею любимый (она и во сне не предпочитала мне никого другого), являюсь к ней вдруг ночью с корзиной и самыми белыми хлебами, потом, произнеся над ними молитву и запечатлев их крестным знамением, по введенному у нас обыкновению, подаю ей вкусить и тем восстанавливаю и подкрепляю ее силы. И это ночное видение было для нее чем-то действительно существенным; ибо с этого времени пришла она в себя и стала не безнадежна. А случившееся с ней обнаружилось ясным и очевидным образом. Когда, при наступлении дня, вошел я к ней рано утром, — с первого раза увидел ее в лучшем прежнего положения; потом стал, по обыкновению, спрашивать, как провела ночь, и что ей нужно? Она нимало не медля и речисто сказала: «Сам ты, любезный сын, напитал меня и потом спрашиваешь о моем здоровье. Ты весьма добр и сострадателен!» В то же время служанки показывали мне знаками, чтобы я не противоречил, но принял слова ее равнодушно и открытием истины не приводил ее в уныние.

Еще присовокуплю одно происшествие, касающееся обоих. Плыл я Парфенским морем на корабле Егинском из Александрии в Грецию. Время было самое неудобное для плавания; но меня влекла страсть к наукам, особенно же ободряло то, что корабельщики были как бы свои. Но едва совершили мы часть пути, — поднялась страшная буря, какой, по словам плывших со мной, и не бывало на их памяти. Все пришли в страх при виде общей смерти; но я, бедный, боялся больше всех за свою душу; ибо подвергался опасности умереть некрещеным и среди губительных вод желал воды духовной; поэтому вопиял, просил и молил себе хотя малой отсрочки. Соединяли вопль свой и плывшие со мной, несмотря на общую опасность, усерднее иных родственников. Странные подлинно человеколюбцы, наученные состраданию бедствием! Так страдал я; но со мной страдали и родители, в ночном видении разделяя мое бедствие. Они с суши подавали помощь, своей молитвой как бы заговаривая волны: о чем узнал я, когда впоследствии, по возвращении домой высчитал время. То же самое открыл и нам спасительный сон, как скоро мы вкусили его, потому что буря несколько утихла. Ночь явственно мне представила, что держу Эринию, которая страшно смотрит и грозит опасностью. А некто из плывших со мной, оказывавший ко мне особенное благорасположение и любовь и весьма беспокоившийся обо мне, видел, что во время опасности мать моя вошла в море, и взявши корабль, без большого труда извлекла его на сушу. И видение оправдалось; ибо море стало укрощаться, а мы вскоре, по непродолжительном бедствовании на море, пристали к Род осу. Во время этой-то опасности и я принес себя в дар, дав обет, если спасусь, посвятить себя Богу, и посвятив, спасся.

И это касается обоих, но думаю, что иные из близко знавших моего родителя, давно удивляются мне, который так долго останавливается на этих предметах, как будто это одно и могу ставить ему в похвалу, а до сих пор не упомянул о тягостных временах, с которыми он боролся, как будто этого или не знаю, или не считаю важным. Итак, присовокупим и это к сказанному.

Наше время произвело на свет первое и, думаю, последнее зло — царя отступника от Бога и от здравого смысла. Почитая для себя малым делом покорить персов, а великим — низложить христиан, при содействии побеждающих его к тому демонов, не оставил он без испытания ни одного вида нечестия: убеждал, угрожал, лжеумствовал, привлекал к себе не только ухищрениями, но и силой. Он не имел утаиться, как ни прикрывал гонение злоухищренными выдумками; но не употреблял своей власти и открытым образом, чтобы мы непременно были уловлены, как ни есть, или обманом, или насилием. Но найдется ли человек, который бы более моего родителя или презирал, или послужил к низложению этого царя? Доказательством пренебрежения, кроме многого другого, служит следующее. Когда стрелки, с предводителем своим, посланные царем отнимать у нас или разрушать священные наши храмы, после нападений на многие другие места с такой же дерзкой мыслью пришли сюда, и начальник их, по царскому указу, стал требовать храма, тогда не только не совершил он желаемого, но если бы по собственному благоразумию или по чьему-либо совету не согласился уступить моему отцу, то был бы растоптан ногами. Так иерей воспламенял всех гневом на него и ревностью о храме! Но кто же больше моего родителя способствовал низложению отступника? Он и открыто, несмотря на обстоятельства, всенародными молитвами и молениями поражал губителя, и наедине выводил на него свое ночное ополчение — простертие на земле, изнурение престарелой и маститой плоти своей, орошение пола слезами. В таковых подвигах провел он почти целый год, любомудрствуя перед единым Тайноведцем, от нас же стараясь укрыться; потому что, как сказал я, не любил хвалиться своей набожностью. И конечно, утаился бы, если бы не взошел я однажды нечаянно и, увидев следы его распростертая на земли, не выведал у одного из служителей, что это значило, и таким образом не узнал ночной тайны.

Вот и другое повествование о подобном опыте мужества и относящееся к тому же времени. Кесария была в волнении, по случаю избрания архиерея; потому что один скончался и искали другого. Споры были жаркие, и трудно было положить им конец. Город, по свойству жителей, а особенно, в настоящем случае, по горячности веры, склонен был к мятежам; а знаменитость кафедры еще более усиливала страсть к прениям. В таком положении находилось дело, когда прибыло несколько епископов, чтобы дать городу архиерея. Народ разделился на много групп, как обыкновенно бывает в таких случаях; один предлагал того, другой другого, руководствуясь кто дружескими связями, кто страхом Божиим. Наконец, все приходят к согласию, и одного из первостепенных граждан, отличного по жизни, но еще не запечатленного божественным Крещением, взяв против воли его, при содействии военной силы, вступившей тогда в город, возводят на престол, а потом представляют епископам, убеждая их и даже насильно требуя, чтобы избранного сподобили Таинства и нарекли архиереем. Поступок — не весьма законный, однако же показывающий сильную и пламенную веру! И нельзя сказать, чтобы здесь проявил себя кто-нибудь более праводушным и богобоязненным, нежели мой родитель. Ибо чем окончилось дело, и до чего простерся мятеж? Вынужденные епископы очистили избранного Крещением, нарекли и возвели на престол, действуя более руками, нежели произволением и расположением духа, как показало дальнейшее. Ибо они едва, с радостью, удалились *из* города и получили полную свободу располагать собой, как держат между собой совет (не знаю, духовный ли?) и определяют признавать как все совершенное ими не имеющим силы, так и постановление епископа незаконным, ставя ему в вину сделанное им принуждение (хотя и сам он потерпел не меньшее), и воспользовавшись некоторыми выражениями, какие он будто бы произнес тогда, показав в них больше опрометчивости, нежели мудрости. Но великий Архиерей и правдивый ценитель дел не последовал давшим такое определение и не одобрил их мнения, но пребыл непреклонным и непреодолимым, как бы он вовсе не потерпел никакого принуждения. Ибо рассуждал: поскольку принуждению подверглись обе стороны; то надобно, чтобы или обвиняющие были обвинены, или прощающие прощены или, что справедливее, прощающие не прощены. Если поставившие достойны извинения, то необходимо достоин его и поставленный; а если последний недостоин, то ни под каким видом не достойны первые. Гораздо было лучше тогда претерпеть бедствие и упорствовать до конца, нежели входить в совещание после, и притом в такие времена, когда всего полезнее прекращать старую вражду, а не заводить новую. Так происходило дело. Между тем приближался царь, исполненный ярости на христиан, и, будучи раздражен рукоположением, угрожал новопоставленному; город был как бы на острие бритвы, и неизвестно было, не погибнет ли он через день, или найдет еще сколько-нибудь человеколюбия, и спасется. Прежнее негодование на граждан за храм богини счастья, разрушенный ими во времена счастливые, усилено было последним избранием епископа, которое царь почитал наравне с разграблением народного достояния. Притом областной начальник, который и прежде не был дружен с новопоставленным по разномыслию в делах гражданских, старался сделать ему какое-нибудь зло, чтобы тем угодить времени. Поэтому писал он к рукополагавшим, чтобы обвинили новопоставленного, и писал не просто, но даже с угрозами, давая знать, что требует этого сам царь. Тогда пришло письмо и к моему родителю. Но он, нимало не устрашась, немедленно отвечал со всей смелостью и полным присутствием духа, как видим из самого ответа. Ибо писал так: «Достопочтенный правитель! Мы во всех делах своих имеем единого Судью и Царя, против которого ныне восстают. Он и теперь будет судить нас за рукоположение, которое совершено нами законно и по Его изволению. Для вас весьма удобно, если захотите, сделать нам насилие в чем-либо другом; но никто не отнимет у нас права защищать такое дело, которое совершено нами законно и справедливо; разве издадите еще закон, запрещающий нам располагать и собственными нашими делами». Такому ответу удивился и сам получивший его, хотя некоторое время и негодовал на его, как сказывали многие, коротко знавшие этого начальника. Им остановлено и стремление царя; город спасен от опасности (а не худо присовокупить еще), и мы избавлены от стыда. Так действовал епископ малого города, занимавший второстепенную кафедру! Так первенствовать — не гораздо ли лучше, чем вещать с высших престолов? Не лучше ли начальствовать самим делом, а не по имени только?

Кто же так удален от обитаемой нами Вселенной, чтобы не знал его деяния, последнего по порядку, но первого и важнейшего по силе? В том же городе, и по такой же причине, произошло опять смятение, потому что потерпевший такое прекрасное принуждение в скором времени скончался и переселился к Богу, за Которого твердо и мужественно подвизался он во время гонения. Споры были тем безрассуднее, чем жарче. Ибо небезызвестно было — кто преимуществует перед всеми, как солнце перед звездами. Каждый видел это ясно, особенно все почтеннейшие и беспристрастнейшие из граждан, все, принадлежавшие алтарю, и наши назореи, на которых одних, по крайней мере большей частью, должны были бы лежать подобные избрания, в каком случае Церковь не терпела бы никакого зла; тогда как избрания эти зависят от людей богатых и сильных, а еще более от буйства и безрассудности черни, даже между чернью от людей самых последних. Почему можно теперь думать, что народные начальства благоустроеннее нашего начальства, которому приписывается божественная благодать, и что в подобных делах лучший правитель страх, а не разум. Ибо кто из благомыслящих стал бы искать другого, миновав тебя, священная и божественная глава, — тебя, написанного на руках Господних (Ис. 49,16), не связанного брачными узами, нестяжателя, бесплотного и почти бескровного, в знании словес первого по Слове, между любомудры-ми мудрого, между мирскими премирного, друга моего и сотрудника (выражусь даже смелее), соучастника души моей, вместе со мной жившего и учившегося? Я желал бы, чтоб слову дана была свобода, чтоб оно изобразило тебя в другом месте, а не в твоем присутствии это описывало, где должно оставить большую часть, избегая подозрения в лести. Но на чем остановилась речь? Дух знал присного Ему (ибо может ли не знать Он?); однако же зависть противоборствовала. Стыжусь говорить об этом, не желал бы слышать и от других с таким усердием осмеивающих наши дела. Подобно рекам, обойдем камни, лежащие на течении, почтив молчанием достойное забвения, и обратимся к продолжению слова. Муж, исполненный Духа совершенно знал, что угодно Духу; он рассуждал, что не должно унижаться и в борьбе с крамолой и предубеждением уступать больше людской милости, нежели Богу; а напротив, надобно иметь в виду одно — пользу Церквей и общее спасение. Поэтому писал, увещевал, соглашал народ, священников и всех служащих алтарю, свидетельствовал, подавал голос, рукополагал даже заочно и заставлял чужих, подобно своим, уважать седину. Наконец, поскольку требовала нужда, чтобы рукоположение его было согласно с правилами, а число нарекающих было не полно и недоставало одного, то сам, удрученный старостью и недугом, отрывается от болезненного одра, с бодростью юноши идет, или лучше сказать, с мертвым и едва дышащим телом приносится в город, уверенный, что если постигнет его смерть, то попечительность эта поставит для него прекрасную погребальную ризу. И здесь совершается нечто чудное. Но не невероятное; он укрепляется трудом, юнеет усердием, распоряжает, препирается, возводит на престол, возвращается домой, и но силы его служат ему не гробом, но Божиим киотом. И если недавно восхвалял я его великодушие, то в этом случае оказалось оно еще в большей мере. Когда сослужители его не могли снести стыда, что они побеждены, а старец с властью располагает делами, и за это негодовали на него и злословили его, тогда он укрепился терпением и одержал над ними верх, взяв в пособие себе действительнейшее средство — кротость и то, чтобы на злословие не отвечать злословием. Ибо для победившего на самом деле какая опасность остаться побежденным на словах? А поэтому когда само время оправдало его мнение, — так пленил он великодушием своих противников, что, переменив негодование на удивление, они извинялись перед ним, припадали к коленам, стыдились прежних поступков и, отложив ненависть, признали его своим патриархом, законодателем и судьей.

С такой же ревностью восставал он и против еретиков, когда ополчились на нас вместе с нечестивым царем и, поработив почти уже всех, думали и нас совратить и приобщить к другим. И здесь оказал он нам немалую помощью, как сам, так, может быть, и через меня, которого он, как молодого пса нехудой породы, для упражнения в благочестии выводил против этих лютых зверей.

За одно жалуюсь на обоих. Не огорчитесь моим дерзновением; ибо объявлю скорбь свою, хотя это и горестно! Жалуюсь на обоих, что меня, огорченного бедствиями жизни этой, любящего пустыню, как едва ли любит кто другой из наших, употреблявшего все усилия как можно скорее уклониться от общей бури и праха и спастись в безопасное место, под благовидным именем священства (не знаю, каким образом), предали вы на это беспокойное и злокозненное торжище душ, отчего немало зла или уже потерпел я, или надеюсь еще потерпеть; ибо понесенные мной страдания обезнадеживают даже и в будущем, хотя разум, предполагая лучшее, и уверяет в противном.

Но не умолчу о следующем добром качестве в моем родителе. Он во всем был терпелив и выше нужд земной оболочки. Когда же страдал от последнего недуга, начавшегося вместе со старостью, весьма продолжительного и мучительного, тогда болезненное состояние было для него нечто общее со всеми людьми, но в перенесении болезни не имел он ничего общего с другими; а напротив, здесь видно было нечто ему одному свойственное и подобное чудесам, совершившимся с ним прежде. Часто не проходило дня, даже часа, в который бы не чувствовал он болезненных припадков; но укреплял себя единой Литургией, и болезнь, как бы гонимая чьим повелением, оставляла его. Прожив почти до ста лет, сверх пределов, положенных Давидом пребыванию нашему на земле, и из них сорок пять лет, что составляет меру человеческой жизни, проведя в священстве, отрешается он, наконец, от жизни в старости доброй. И как отрешается? В молитвенном положении и с словом молитвы, не оставляя и следа злобы, но оставив множество памятников добродетели. А потому у каждого на языке и в сердце уважение к нему более, нежели человеческое. И нелегко найти человека, который бы, вспоминая о нем, не лобызал его в своем воображении, по слову Писания, *положив на уста руку* (Иов. 39,34). Такова была жизнь его, таковы последние дни жизни, такова кончина!

Поскольку же нужно было, чтобы и для потомства остался памятник его щедрости, то можно ли желать лучшего, чем этот храм, воздвигнутый им Богу и для нас? Немногим воспользовавшись из народного подаяния, а большую часть пожертвовав от себя, совершил он дело, о котором нельзя умолчать, имею в виду храм, величиной превосходящий многие и красотой почти все другие храмы. Имея вид равностороннего восьмиугольника, над прекрасными столпами и крыльцами подъемлет он вверх свои своды с изображениями на них, не уступающими самой природе, а сверху обнимается сиянием неба и озаряет взоры обильными источниками света, как истинная его обитель; со всех сторон окружен переходами, выдающимися под равными углами, сделанными из блестящего вещества и заключающими внутри себя большое пространство. Сияя изяществом дверей и преддверий, приглашает он издали приходящих; не говорю уже о внешнем украшении, о красоте четырехугольных камней, неприметно между собой соединенных, из которых одни, в основаниях и надглавьях, украшающих углы, мраморные, а другие добыты здесь, но ничем не уступают чужеземным. Не говорю о различных, видом и цветом, выдавшихся и вдавшихся поясах от основания до вершины, которая, ограничивая взор, подавляет собой зрителя. Но как могло бы слово в столь короткое время изобразить произведение, которое требовало большого времени, многих трудов и искусства? Или довольно будет сказать одно то, что когда другие города украшаются многими, и частными, и общественными зданиями, — нам это здание приобретает славу у многих? Таков этот храм! А как для храма нужен стал иерей; то от себя же дает и иерея, не могу сказать, соответствующего ли храму, однако же дает. Поскольку же требовались и жертвы; то предлагает в жертву страдания сына и его терпение в страданиях, да будет от него Богу, вместо подзаконной жертвы, всеплодие словесное, жертва духовная, прекрасно потребляемая.

Что скажешь, отец мой? Достаточно ли этого? И это мое похвальное слово, напутственное или надгробное, примешь ли в воздаяние за труды, какими ты обременял себя для моего образования? И дашь ли, по древнему обычаю, мир слову? Здесь ли положишь ему предел, не терпя того, чтобы оно вполне было соразмерно твоим заслугам? Или пожелаешь каких дополнений? Знаю, что и этим удовольствуешься. Но хотя и достаточно этого, —позволь еще присовокупить следующее. Поведай нам: какой сподобился ты славы, каким облечен светом, каким облечется вскоре супружница твоя, каким облечены чада, которых сам ты предал погребению; прими и меня в те же селения, или прежде новых злостраданий, или по кратком злострадании в жизни этой! А прежде горних селений, этим сладостным камнем, который приготовил ты для обоих, еще здесь почтив твоего и соименного тебе иерея, извини меня за это слово, с твоего позволения и предложенное, и предначатое, и безбедно веди, во-первых, всю твою паству и всех архиереев, именовавших тебя отцом своим, а преимущественно меня, потерпевшего от тебя принуждение и над которым ты властительствовал отечески и духовно; веди безбедно, чтобы мне не всегда жаловаться на твое принуждение.

Что же думаешь ты, судья слов и движений моих? Если сказанного достаточно и ожидание твое удовлетворено, произнеси приговор; я приемлю его. Ибо суд твой поистине суд Божий. Если же слово мое ниже и его славы, и твоего ожидания: помощник близко; как благовременный дождь, пошли глас твой, которого ожидают его доблести. И конечно немаловажны причины, по которым он обязывает тебя к этому, и как пастырь пастыря, и как отец сына по благодати. Что удивительного, если тот, кто через тебя возгремел в слух Вселенной, сам насладится сколько-нибудь твоим гласом?

Что же остается еще? Вместе с духовной Саррой, супругой великого отца нашего Авраама, и ему равнолетней, полюбомудрствовать несколько о погребальном. Матерь моя! — не одинаково естество Божеское и человеческое или, говоря вообще, не одинаково естество божественного и земного. В божественном неизменяемо и бессмертно как само бытие, так и все, имеющее бытие, ибо в постоянном все постоянно. Что же бывает с нашим естеством? Оно течет, сотлевает и испытывает перемену за переменой. Поэтому жизнь и смерть, нами так называемые, как ни различны, по-видимому, между собой, входят некоторым образом одна в другую и сменяют друг друга. Как жизнь, начинаясь тлением, — нашей матерью, и продолжаясь через тление — непрестанное изменение настоящего, оканчивается тлением — разрушением этой жизни; так смерть, избавляющая нас от здешних бедствий и многих приводящая в жизнь горнюю, не знаю, может ли быть названа в собственном смысле смертью. Она страшна только именем, а не самим делом; и едва ли не безрассудной предаемся мы страсти, когда боимся того, что не страшно, а гонимся, как за вожделенным, за тем, чего должно страшиться. Одна для нас жизнь — стремиться к жизни; и одна смерть — грех, потому что он губит душу. Все же прочее, о чем иные думают много, есть сновидение, играющее действительностью, и обманчивая мечта души. Если же так будем рассуждать, мать моя, то не будем и о жизни думать высоко, и смертью огорчаться чрезмерно. Что ужасного в том, что переселяемся мы отсюда в жизнь истинную, избавившись от превратностей, пучин, сетей, постыдного оброка, и вместе с постоянными и непреходящими существами будем ликовать как малые светы окрест великого Света? Тебя печалит разлука, да возрадует же надежда. Для тебя страшно вдовство, но оно не страшно для него. И где же будет доброта любви, если будем для себя избирать легкое, а ближнему отделять труднейшее? Во всяком случае, что тяжкого для той, которая сама вскоре разрешится? Срок близок, скорбь не продолжительна. Не станем малодушными помыслами обращать легкое в тягостное. Великого лишились мы, зато и обладали великим. Потери несут все. а обладают немногие. Да не сокрушает первое, но да утешает последнее. Справедливость требует, чтобы лучшее одерживало верх. Ты с великим мужеством и любомудрием переносила потерю детей, которые были еще в цветущих летах и годны для жизни, перенеси же смерть престарелой плоти, утружденной уже жизнью, хотя душевная сила и сохраняла в ней чувства здравыми. Но ты имеешь нужду в попечителе? Где же твой Исаак, которого оставил он тебе взамен всех? Требуй от него малого — руковождения и услуг; и воздай ему вящее — материнское благословение, молитвы и будущую свободу. Но ты негодуешь за предложение советов, хвалю за это; потому что сама давала советы многим, всем, кто ни прибегал к твоему благоразумию во время продолжительной твоей жизни. Не к тебе и слово, любомудрейшая из жен, пусть будет оно общим средством утешения для плачущих, да понимают это люди, предпосылающие подобных себе людей!

# СЛОВО 19. Произнесенное св. Григорием Богословом о словах своих Юлиану, производившему перепись народа и уравнение податей

Какая насильственная власть, которая постоянно мучит меня из любви! Какая моя мудрость и опытность, когда каждый праздник вызывают меня на борьбу! Я не нахожу в себе никакой мудрости, ни опытности, как ни разбираю и ни испытываю сам себя. Одно, правда, сознаю в себе, что может быть и немаловажно, хотя некоторые называют это скудоумием, — я бы желал каждую минуту умерщвлять в себе жизнь, а жить жизнью сокровенной во Христе, стать не мелочным купцом, но на все, что имею у себя, купить драгоценную жемчужину, все преходящее и тленное променяв на постоянное и небесное. Такое приобретение, конечно, всего важнее и надежнее для имеющего ум. Но если это для меня невозможно, то я желал бы устоять, по крайней мере, в другом, и престол уступить желающим, а самому всю жизнь быть ребенком и учеником, пока не измою всей горечи сладкими водами учения. Пусть было бы это одним и первым делом моего любомудрия или скудоумия; а вторым и важнейшим — следующее: поскольку я не в состоянии удерживать словом моим слово многих и овладевшее ныне всеми стремление и желание учить и говорить о духовном, не имея в себе Духа, то идти другим путем, сколько я уверен, и лучшим и менее трудным, став примером молчания, научить всех безмолвию; и кто высоко обо мне думает, того устыдить превосходством, а кто низко и меньше надлежащего, того довести до скромности равенством достоинств. Такова причина моего молчания, такова тайна нашего воздержания!

Но что со мной делается? Меня влекут и порывают туда и сюда; входят о трудах моих в тяжбу, без милосердия, требуя с меня слова, как некоего долга; любят меня больше, нежели сам я себя; и все стали мудрее меня, потому что лучше меня знают время, когда говорить и когда молчать. Они говорят, что не перестанут в меня, как в железо кремнем, бить укоризнами, пока от малой искры не воспламенится огонь слова. А некоторые из них обещают уже и выгоды от моих слов, поставляют мне на вид большие награды; во-первых, ту, что они сами себе сделают добро, предав себя Богу и мне в плодоношение слова; потом ту, что по случаю переписи окажется добро и всем присутствующим здесь, то есть моему клиру, если клир отца моего — вместе и мой, и моему стаду, с которыми я поступил бы очень несправедливо, если бы не имел усердия благодетельствовать им всеми мерами. А самая лучшая награда та, что они за мое слово сами предлагают то, чего бы посредством слова надлежало домогаться с большим усилием. Прекрасно соревнование, которым стараются победить меня! Похвально воздаяние! Видите, каково действие моего молчания; оно сделало сами слова мои для вас более вожделенными. Видите, каков плод нашего бесславия. О, если бы такова была польза слова, какова польза молчания!

Итак, поскольку вам это угодно, вы победили непобедимого, восторжествовали над моим любомудрием, произнесу вам нечто лучшее молчания. А следственно, произнесу не что-либо нежное, приятное и усладительное для многих своим благозвучием (такой беседой худо воздал бы я любящим меня), но скажу что-нибудь весьма мужественное и сильное, от чего вы могли бы сделаться лучшими, как возведенные от плоти к духу и достаточно возвысившиеся умом.

*Сыны человеческие,* начну вам словами велегласного Давида, *доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи* (Пс. 4,3), почитая чем-то великим здешнюю жизнь, забавы, мелкую славу, ничтожную власть и ложное благоденствие, которые имеющим их принадлежат не больше, чем только надеющимся иметь, и надеющимся не больше, чем вовсе не чающим? Все это, как прах вихрем, восхищается и переносится от одного к другому, или, как дым, разливается, как сновидение, над нами издевается, как тень неудержимо; когда уходит, — не безнадежно для не приобретших; и когда приходит, — не верно для обладающих. Как не обратим взоров к нему, горе? Не истрезвимся? Не очистим гноя с глаз! Не познаем, в чем истинное богатство, в чем подлинная знаменитость, где неутрачиваемое достоинство, в чем бесконечное блаженство, где незыблемое, непременяемое, не подвергающее нас наветам благо? Не их ли станем приобретать, если бы так случилось, со многими усилиями и трудами? Не такими ли будем наслаждаться надеждами, если должно здесь чем-нибудь наслаждаться? Не помыслим ли о святых мучениках и о прочих святых, которые, подобно каким-то общим узам, объяли собой всю Вселенную, и в честь которых совершается настоящее празднество? Для чего они и раны, и узы, и истязания, и запрещение огнем, и острие мечей, и лютость зверей, и тьму, и голод, и пропасти, и расхищение имений, и отторжение членов, а, наконец, и саму смерть — все терпели охотно, как бы подвизаясь в чужом теле? Чем желали они быть, что наследовать? Не всякому ли это известно, хотя бы и не говорил я? Почему и нам с той же надеждой, перед тем же Раздателем наград и Подвигоположником не ополчиться против того же мучителя, столь же и ныне, как и в то время, жестокого гонителя душ, невидимого врага и противника? Почему не подвизаться с таким же мужеством на общем позорище, то есть на позорище мира (если не при крайней опасности, когда и освобождение скоро, то в ежедневных трудах и борениях), чтобы удостоиться тех же венцов, или чего-нибудь весьма к тому близкого? А я всякому мужу и жене, старцу и юноше, городскому жителю и поселянину, простолюдину и начальнику, богатому и бедному, так как всех призывает один подвиг, даю совет один — приготовиться к этому подвигу охотно, не расслабевать, не медлить, не терять времени, которого возвратить уже невозможно. Ибо настоящее время есть время делания, а будущее — время воздаяния.

Слышите, что говорит Спаситель: *встаньте, идем отсюда* (Иоан. 14, 31), говорит не тогдашним только ученикам, которых уводит из Иудеи, но и всем последующим, чтобы всех переселить отсюда и привлечь к Себе вознесенному, по обету (Иоан. 12, 32). Последуем за благим Владыкой, убежим от мирских похотей, убежим от обманчивого мира и миродержателя; всецело посвятим себя Творцу; почтим образ Божий, уважим звание, изменим жизнь. Для чего унижаем себя, будучи высокими? Для чего останавливаемся на видимом? Пусть всякий, во всякое время, при всяком образе жизни и обстоятельстве, по мере собственной своей силы, и по мере данной ему благодати, принесет Богу плод, какой может, чтобы добродетелями всякой меры наполнить нам все горние обители, пожав столько, сколько посеяли, или, лучше сказать, столько вложив в Божий житницы, сколько возделали. Пусть приносят в дар, — кто богатство, а кто нищету; кто усердие к ближнему, а кто охотное принятие предлагаемого усердием; кто похвальное дело, а кто глубокое наблюдение; кто благовременное слово, а кто благоразумное молчание; кто непреткновенное учение и жизнь, ему не противоречащую, а, кто благопослушный и благопокорный слух; кто чистое девство, совершенно отрешающее от мира, а кто честный брак не вовсе отлучающий от Бога; кто воздержание без надмения, а кто и употребление без похотливости; один ничем неразвлекаемое упражнение в молитвах и песнях духовных, другой тщательное защищение требующих помощи. Все же да приносят слезы, очищение от грехов, восхождение и усилие простираться вперед. Прекрасным будет плодоношением и простота, и уцеломудренный смех, и обузданный гнев, и глаз, удерживаемый от бесчиния, и ум, не допускаемый до рассеянности.

Как бы ни было маловажно приносимое Богу, и как бы ни далеко отстояло от совершенства, но оно не настолько мало, чтобы Бог не нашел этого угодным и вовсе не принял, хотя и праведным судом взвешивает милость. И Павлово насаждение приемлет Он как Павлово; приемлет и напоение Аполлосово, и две лепты вдовы, и мытарево смирение, и исповедь Манассии. Когда Моисей водружал на земле скинию во образ небесного, тогда все приносили, что было им велено. А доброхотные подаятели (мужи и жены) — одни золото, другие серебро и дорогие камни для верхней ризы, другие *виссон сканый* и *червленую шерсть;* одни *багряницу, кожи бараньи красные,* другие самое худшее, *козью шерсть* (Исх. 25,35); каждый и каждая, что имели у себя на тот раз, все приносили в дело скинии, и никто из самых бедных не остался без приношения. Так и мы в честную Божию скинию этой церкви, *которую воздвиг Господь, а не человек* (Евр. 8, 2), в скинию, созидаемую из различных украшений добродетели, хотя один меньше, а другой больше, но все будем вносить одинаково, при строительстве Духа слагаемые и сочетаемые в дело совершенно, в жилище Христово, в храм святой. Без сомнения же, не внесем столько, сколько получили, хотя и все внесем. Ибо и то от Бога, что мы существуем, знаем Бога и имеем, что внести. Но всего прекраснее и человеколюбивее то, что Бог измеряет подаяние не достоинством подаваемого, но силами и расположением плодоносящего.

Итак, не медли сделаться щедрым, но будь им теперь, и по недостатку достойного, не отказывай во всем. Напротив, одно внеси, другое пожелай внести, а об ином молись, чтобы Бог даровал прощение немощи. Он говорит: *пусть не являются передо Мною с пустыми руками* (Исх. 23,15). Никто да не будет тощ и бесплоден; ни одна душа не окажется лишенной плодородия и чадородия. Всякий да плодоносит Богу, что у него есть и составляет его собственность: согрешающий — исправление, текущий подвигом добрым — неослабность; юный — воздержание; седина — благоразумие; богатый — щедрость; бедный — благодарность; начальствующий — некичливость; судья — *кротость. Священники облекитесь* (или, правильнее сказать, облечемся) *правдой* (Пс. 131,9)- Не будем расточать овец паствы, не погубим тех, за кого положил *душу Пастырь добрый,* Который знает Своих и Своими знаем, *зовет по имени* (Иоан. 10, 3), вводит овец и изводит их из неверия в веру, из настоящей жизни в будущее упокоение. Побоимся того, чтобы, во исполнение угрозы, с нас не *начался суд* (1Петр. 4,17), нам не *принять от руки Господней вдвое за грехи* (Ис. 40, 2), потому что сами не входим и препятствуем тем, которые могут взойти.

Овцы, не пасите пастырей и не выступайте из своих пределов, для вас довольно, если вы на доброй пажити. Не судите судей, не предписывайте законов законодателям. Бог *не есть Бог неустройства* и беспорядка, *но мира и порядка.* (1 Кор. 14,33). Поэтому да не замышляет стать головой, кто с трудом служит рукой или ногой, или другим еще менее важным членом тела, напротив, братья, *каждый оставайся в том звании, в котором призван* (1 Кор. 7,20), хотя бы и достоин был высшего. Довольствоваться настоящим — гораздо похвальнее, нежели домогаться звания, какого не получил. Кому можно без опасности следовать за другим, тот не желай начальствовать с опасностью для себя. Да не нарушается закон подчинения, которым держится и земное и небесное, чтобы через многоначалие не дойти до безначалия.

Образовавшие в себе дар слова не слишком полагайтесь на этот дар, не мудрствуйте до излишества и сверх разума, не желайте во всем, даже и со вредом, одерживать верх, но в некоторых случаях, только было бы полезно, уступайте над собой и победу. Принесите слово в дар Слову, обратите ученость в оружие оправдания, а не смерти.

Воины, *довольствуйтесь своим жалованьем* (Лук. 3, 14) и не требуйте сверх положенного. Так повелевает вам со мной Иоанн, великий проповедник истины, глас предтекший Слову. Что же разумеет он под жалованьем? Очевидно — царское содержание и подарки, какие делают по закону за отличия. А от кого *лишнее?* Остерегаюсь произнести неприязненное слово, но вы сами поймете, хотя и воздержусь.

Градоправители, *отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу* (Матф. 22,2*). Кому дань, а кому страх* (Рим. 13, 7). А когда говорю страх, — запрещаю любостяжание. Какую же получим себе выгоду, может быть, скажете вы. Великую, из всех величайшую, и если угодно, при посредстве моем, благие надежды и первенство в горнем граде, а не в этом малом и малейшем из городов, в котором (из уважения к месту моего воспитания скажу еще скромно) и начальствовать — нет большой чести и славы. Пожелаем там быть первыми, приобретем тамошнюю славу; взамен сострадательности, какой не видим к себе здесь, упокоимся в недрах Авраамовых.

Будем *судить праведным судом* (Иоан. 7,24), *избавим нищего и бедного* (Пс. 81,4), помилуем вдовицу и сироту, *спасем обреченных на убиение* (Притч. 24,11), или (выражусь гораздо легче) не будем сами убивать; не презрим просящего у нас даже крох со стола; не пройдем мимо покрытого струпьями и лежащего в наших воротах. Не будем предаваться забавам, когда другие злостраждут; не погнушаемся подобным себе рабом, чтобы не разделить нам, друзья и братья, одной участи с богачом, не *мучаться в пламени,* не отделяться *пропастью* от праведных, не просить нищего Лазаря *концом перста прохладить* палимый *язык* наш (Лук. 16, 24—*26),* и просить напрасно. Будем добродушны, милосерды, сострадательны, будем подражать Владыке, Который велит восходить солнцу для добрых и злых, всех одинаково питает дождем. Не дозволим себе обогащаться нищетой других, не отступим так далеко от Божией правдивости, не смешаем богатства своего с чужими слезами, от которых оно, как от ржавчины и моли, пропадет, или (скажу словом Писания) *изблюется* (Иов. 20,15). Но ежели мы алчны более, чем должно, то есть и добрая любостяжательность. Дадим здесь нечто малое, чтобы там обогатиться.

Эти правила общие для всех, а не для одних только гражданских начальников, потому что для общего недуга и пути исцеления общие. А ты, составляющий у нас перепись, переписывай нас правдиво; веди не тщательную перепись моих слов, от которых нет или мало пользы, и только приятность и удовольствие для слуха, но святую и человеколюбивую перепись моего народа, уважив, если не что другое, то само время, потому что и Спаситель рождается во время переписи. Сказано: *вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись во всей земле.* Перепись началась. *Пошел* *также и Иосиф в Вифлеем, записаться с Мариею обрученной ему женою, потому что он был из дома и рода Давидова* (Лук. 2,1 — 5). И в это-то время рождается Спаситель, о чудо! Создатель и Владыка всего рождается в бедной и малой обители. Устрашимся тайны, почтим домостроительство, и сами принесем нечто в дар времени. Ныне ангелы радуются; ныне пастыри обнимаются сиянием; ныне звезда течет с востока к великому и неприступному Свету, ныне волхвы поклоняются, приносят дары, познают Царя всяческих и прекрасно по звезде угадывают Небесного. Ныне Ирод неистовствует, избивает детей и за Освободителя истребляет тех, которые должны были получить свободу. Но мы станем с поклоняющимися и Обнищавшему за нас дотела принесем не ладан, как Богу, не золото, как Царю, не смирну, как вкусившему за нас смерть, но дары таинственные, превышающие видимое, то есть ничего не возьмем, ни в чем не уступим богатству предпочтения перед бедностью, не обидим твари для твари. Ты с Христом ведешь перепись, с Христом взвешиваешь, с Главой назначаешь цену, со Словом вычисляешь. Ныне для тебя особенно рождается Христос, есть Бог, и соделывается человеком, *и обращается между людьми* (Вар. 3,8).

Что показывает слово это? Оно, по моему рассуждению, вразумляет тех, кому поверяют подобные дела, что Бог всегда входит в важнейшие распоряжения Правительств. И с одной стороны, чтобы устыдить производящих перепись, во время переписи вступает в общение с плотью и с людьми, а с другой стороны, чтобы утешить нас в рабстве и научить искренности (чего также не должно выпускать из виду), Сам платит *дидрахму* за Себя и за Петра, досточестнейшего из учеников (Матф. 17,24—27). Ибо для нас стал Он человеком и принял образ раба, за наши беззакония веден был на смерть. Так поступал Спаситель, Который, как Бог, мог спасти единым изволением. Но Он сделал то, что для нас важнее и наиболее нас пристыжает, стал нам подобострастным и равночестным. Ужели же мы, ученики кроткого, человеколюбивого и столько для нас послужившего Христа, не будем подражать милосердию Владыки? Ужели не будем милостивы к подобным нам рабам, чтобы и самим заслужить милость Господа, Который возмеряет, как сами будем мерить? Ужели не захотим через кротость приобрести души своей? Довольно для свободных рабства, довольно и того различия, что созданные из одной персти, кто властвует, а кто состоит под властью; кто налагает подати, а кто вносится в число дающих подать; кто может делать неправду и зло, а кто молится и употребляет все усилия, чтобы не претерпеть зла. Довольно различия между созданными по единому образу, в одном достоинстве, между наследниками одной и той же жизни, между теми, за которых Христос равно умер! Довольно этого для свободных! Не будем отягчать этого ига и наказания за первый наш грех. Да погибнет зло и первое основание зла — лукавый, *спящим нам посеявший плевелы,* (Матф. 13,25) (чем означается, что началом зла бывает нерадение о добре, равно как началом тьмы — удаление света)! Вот что произведено древом и горьким вкушением, и завистливым змием и преслушанием, за которое осуждены мы проводить жизнь в поте лица. От этого я стал наг и безобразен, познал наготу, облекся в кожаную ризу, ниспал из рая, обратился в землю, из которой взят, и вместо наслаждения имею одно то, что узнал собственное свое бедствие, вместо кратковременного удовольствия осужден на непрестанную скорбь и неприязнь к тому, который ко вреду был много возлюблен и привлек меня к себе посредством вкушения. Такова мне награда за грех! Вследствие этого я должен родиться на труд, жить и разрушаться. Грех есть мать нужды, и нужда — любостяжательности, и любостяжательность — браней, а бранями произведены на свет подати — самое тягостное в нашем осуждении. Но по крайней мере мы, подлежащие тому же осуждению, не станем увеличивать наказания и не будем злы к другим. Бог требует от нас взаимного человеколюбия, хотя Сам и наказывает нас.

Будет и другая перепись, другой составитель переписи, если ты слыхал о *книге живых* (Пс. 68, 29) и о книге неспасаемых. Там все мы будем вписаны или, лучше сказать, уже вписаны каждый по достоинству проведенной им жизни. Там и богатство имеет не больше, и бедность не меньше, а также и милость, и вражда и все прочее, чем здесь закрывается справедливость. Все мы вписаны перстом Божиим, и в день откровения отверста нам будет книга*. Малый и великий там равны* (Иов. 3,19), и *раб вместе с господином,* скажу словами Соломона (Прем. 8,11), и Царь с подвластным, и знатность подле вводимых в перепись. Умолчу о том, что и выговорить ужасно; однако же скажу, что, как сами пишем, так и будем написаны. Это-то написание сделай и ты для себя как можно более милостивым, оказавши нам милость и человеколюбие.

Что скажешь на это? Что напишешь, наилучший друг и сверстник, слушавший со мной одних учителей и одни уроки, хотя Бог и сопричислил меня ныне к лучшему (повременю говорить: к труднейшему) жребию — учить вас, облеченных властью? Что скажешь ты, плод благочестивого отечества и рода, священная отрасль священных родителей и корень еще более священных чад? Как примешь слова мои? Убедительны ли они? Или потребуешь, чтобы я долее услаждал тебя? Правда, не гадать об этом нужно, но достоверно можно знать, что слова мои издавна имеют над тобой силу. И если не на другое что, то на сами слова положиться могу, что они всегда удобно ведут тебя к прекрасному, и ты или предшествуешь им, или последуешь. Ибо этим-то именно и отличаются мудрые от людей обыкновенных. Однако же присовокуплю нечто к сказанному.

Ты воздал уже награду словам моим, какова бы она ни была. Но и слова мои воздают тебе и приводят к тебе нищих, весь лик иереев, лик любомудрых, никакими узами не привязанных к дольнему, обладающих только собственными телами, и телами несовершенно, ничего не имеющих для Кесаря, но все посвятивших Богу — песнопения, молитвы, бдения, слезы, стяжание, не легко приобретаемое, то есть чтобы умирать для мира, жить для Христа, изнурять плоть, отвлекать душу от тела. Их — служителей и свидетелей тайн Божиих, презрителен в небесное, основателей нашего рода, опору и венцы Веры, драгоценные жемчужины, камни храма, для которого основание и краеугольный камень — Христос, то есть прекрасной полноты Церкви, их пощадив или всецело воздав Богу, совершишь ты превосходнейшее дело и для них, и для себя, и для всех нас. И я желаю, чтобы это богатство пришло тебе от нас, а не великие сокровища золота и серебра, которые теперь существуют, но вскоре существовать не будут.

Таково вам плодоношение моего слова! Оно ниже вашей надежды, но соразмерно моим силам. Воздайте и вы мне нечто большее моего приношения — благо-покорность, чтобы сверх всего прочего меньше иметь нужды в моих словах, *будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам* (Евр. 10,24), чтобы сподобившись милостивого и человеколюбивого написания на небесах и ликуя перед Царем всяческих, в чем и состоит все занятие написанных там, совершать Богу хвалу, созерцая и превознося единую славу и светлость Божества — Отца и Сына и Святого Духа. Ибо Ему слава, и честь, и поклонение во веки веков. Аминь.

# СЛОВО 20. О поставлении епископов и о догмате Святой Троицы

Когда смотрю на усиливающуюся ныне болезнь языка, на скороспелых мудрецов, на производимых вновь богословов, для которых довольно только захотеть, чтобы стать мудрыми, тогда ощущаю потребность высшего любомудрия, ищу с Иеремиею *пристанища последнего* (Иер. 9,2), и желаю быть один с самим собой. Ибо для меня всего кажется лучше, замкнув как бы чувства, отрешившись от плоти и мира, без крайней нужды не касаясь ни до чего человеческого, беседуя с самим собой и с Богом, жить превыше видимого, всегда носить в себе божественные образы, чистые, не смешанные с дольними и обманчивыми впечатлениями, быть и непрестанно делаться как бы неомраченным зеркалом Бога и божественного, приобретать ко свету свет — к менее ясному лучезарнейший; пока не взойдем к Источнику тамошних озарений и не достигнем блаженного конца, когда действительность сделает ненужными зеркала. Поэтому едва ли кто в состоянии преодолеть влекущее долу вещество, разве уже обучил себя долговременным любомудрием, и постепенно отторгал от низкого и сопряженного с тьмой, что есть в душе благородного и световидного, или удостоился Божией милости, или, сверх того и другого, прилагал всевозможное старание вознести взор свой горе. А пока нет сил преодолеть вещественное, достаточно очистить слух и мысли; до тех пор не безопасно принимать на себя попечение о душах и вдаваться в богословствование.

И чем приведен я в такой страх? Не почтите меня боязливым сверх меры; напротив, похвалите даже мою предусмотрительность. От самого Моисея слышу, что, когда беседовал с ним Бог, хотя и многие призваны на гору, а в числе их и Аарон с двумя сынами, священниками, однако же повелено было, чтобы прочие поклонились издалеча, а к Богу приступил один Моисей, народу же не дозволено и восходить на гору (Исх. 24,1.2). И не задолго до этого молнии, громы, трубы, вся гора дымящаяся, страшные угрозы и другие подобные грозные явления удерживали народ внизу горы, и для него много было, по надлежащем очищении, слышать один глас Божий. Между тем Моисей и на гору восходит, и вступает внутрь облака, и приближается к Богу, и приемлет закон, — для народа закон написанный, а для тех, которые выше народа, закон духа. Знаю также, что было со священником Илиеем и несколько после него с Озой. Первый понес наказание за беззаконие детей, на которое они отваживались при жертвоприношениях, хотя не только не одобрял их нечестия, но многократно делал им строгие выговоры. Другой дерзнул только прикоснуться к Киоту, увлекаемому тельцом, и хотя поддержал Киот, но сам погиб; так Бог охранял неприкосновенность Киота! Знаю еще, что простому народу не безопасно было прикасаться к стенам храма, почему и нужны стали другие внешние стены (3 Цар. 6,5). И сами жертвы потреблять позволялось не всякому, не во всякое время и не на всяком месте, тем более не дерзали часто входить во Святая Святых, и не только прикасаться, но даже простирать взор к завесе, или к очистилищу, или к Киоту. Зная все это, а вместе и то, что не достоин великого Бога и Жертвы, и Архиерея, кто не представит себя самого в живую жертву Богу, или, лучше сказать, сам не сделается святым и живым храмом живого Бога, — зная все это, мог ли я как сам необдуманно приступить к преподаванию учения о Боге, так и одобрить приступающего к этому дерзновенно? И желание непохвально, и предприятие трудно!

Поэтому надобно очистить сперва самих себя, а потом уже беседовать с Чистым. Иначе испытаем на себе то же, что было с Маноем, и узрев явившегося Бога, должны будем сказать: погибли мы, жена, *ибо Бога видели* (Суд. 13, 22)! Или, подобно Петру, станем высылать с корабля Иисуса, как недостойные такого посещения. Или, подобно сотнику, будем просить врачевания, но не примем Врача. Конечно, и из нас иной (пока он — сотник, над многими первенствует во зле, и служит еще кесарю — миродержителю влекомых долу) скажет о себе: *я не достоин, чтобы ты под покров мой вошел* (Матф. 8,8). Но когда увижу Иисуса, хотя мал я ростом духовно, подобно Закхею, однако же взойду на смоковницу, умер*твив земные члены* (Кол. 3,5) и измождив *тело уничиженное* (Флп. 3, 20); тогда и Иисуса приму к себе и услышу: *ныне пришло спасение дому этому* (Лук. 19,9); тогда действительно получу спасение, начну совершеннее любомудрствовать прекрасно, расточая собранное мной худо, то есть и деньги и учение.

Поскольку же определено мной в слове, каков должен быть богослов, то предложу краткое учение о Боге, уповая на помощь самого Отца и Сына и Святого Духа, о Которых у нас слово. Но молю Бога, чтобы мне о Нем, подобно Соломону, и не помыслить и не произнести чего-либо собственного. Ибо когда Соломон говорит: *я* *более невежда нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нету меня* (Притч. 30,2), конечно, не с тем намерением говорит это, чтобы изобличить совершенное свое неразумие. Ибо возможно ли оно в том, кто больше всего просил себе у бога смышлености и получил мудрость и дар созерцания, и широту сердца — обильнее и неисчерпнее песка морского (3 Цар. 3,29)? И как бы тот, кто был столь мудр и сподобился такого дара, стал называть себя безумнейшим из людей, если не в том смысле, что в нем нет собственной своей мудрости, действует мудрость Божия и совершеннейшая? И Павел, когда говорит: *живу не я, но живет во мне Христос* (Гал. 2,20), — разумеет не то, что он совершенно мертв, но что живет жизнью совершеннейшей, чем многие другие, потому что он стал причастен истинной жизни, которой не полагает предела никакая смерть.

Итак, мы поклоняемся Отцу и Сыну и Святому Духу, разделяя личные свойства и соединяя Божество. Не смешиваем трех (ипостасей) в одно, чтоб не впасть в недуг Савеллиев, и единого неделим на три (сущности), разнородные и чуждые друг другу, чтобы не дойти до Ариева безумия. Ибо для чего, как растение, скривившееся на одну сторону, со всем усилием перегибать в противную сторону, исправляя кривизну кривизной, а не довольствоваться тем, чтобы, выпрямив только до середины, остановиться в пределах благочестия? Когда же говорю о середине, имею в виду истину, которую одну и должно иметь в виду, отвергая как неуместное смешение, так и еще более нелепое разделение. Ибо в одном случае, из страха многобожия сократив понятие о Боге в одну ипостась, оставим у себя одни голые имена, признавая, что один и тот же есть и Отец, и Сын, и Святой Дух и, утверждая не столько то, что все Они одно, сколько то, что каждый из Них ничто, потому что, переходя и переменяясь друг в друга, перестают уже быть тем, что Они сами в Себе. А в другом случае, разделяя Божество на три сущности, или (по Ариеву, прекрасно так называемому, безумию), одна другой чуждые, неравные и отдельные, или безначальные, не соподчиненные и, так сказать, противобожные, то предадимся иудейской скудости, ограничив Божество одним нерожденным, то впадем в противоположное, но равное первому зло, предположив три начала и трех Богов, что еще нелепее предыдущего.

Не должно быть таким любителем Отца, чтобы отнимать у Него свойство быть Отцом. Ибо чьим будет Отцом, когда отстраним и отчуждим от Него вместе с тварью и естество Сына? Не должно быть и таким Христолюбцем, чтобы даже не сохранить у Него свойства — быть Сыном. Ибо чьим будет Сыном, если не относится к Отцу, как виновнику? Не должно в Отце умалять достоинства — быть началом, принадлежащего Ему, как Отцу и Родителю. Ибо будет началом чего-то низкого и недостойного, если он не виновник Божества, созерцаемого в Сыне и Духе. Не нужно все это, когда надобно и соблюсти веру в единого Бога, и исповедовать три Ипостаси, или три Лица, притом — каждое с личным Его свойством. Соблюдается же, по моему рассуждению, вера в единого Бога, когда и Сына и Духа будем относить к единому Виновнику (но не слагать и не смешивать с Ним), — относить как по одному и тому же (назову так) движению и хотению Божества, так и по тождеству сущности. Соблюдается вера и в три Ипостаси, когда не будем вымышлять никакого смешения или слияния, вследствие которых у чествующих более, чем должно, одно, могло бы уничтожиться все. Соблюдутся и личные свойства, когда будем представлять и нарицать Отца безначальным и началом (началом, как Виновника, как источник, как присносущный Свет); а Сына — нимало не безначальным, однако же и началом всяческих.

Когда говорю — началом, ты не привноси времени, не ставь чего-либо среднего между Родившим и Рожденным, не разделяй естества худым вложением чего-то между совечными и сопребывающими. Ибо если время старше Сына, то, без сомнения, Отец стал виновником времени прежде, нежели — Сына. И как был бы Творцом времен Тот, Кто сам под временем? Как был бы Он Господом всего, если время Его упреждает и Им обладает? Итак, Отец безначален; потому что ни от кого иного, даже от Себя самого не заимствовал бытия. А Сын, если представляешь Отца виновником, не безначален (потому что началом Сыну Отец, как виновник); если же представляешь себе начало относительно ко времени — безначален (потому что Владыка времен не имеет начала во времени).

А если из того, что тела существуют во времени, заключишь, что и Сын должен подлежать времени; то бестелесному припишешь и тело. И если на том основании, что рождающееся у нас прежде не существовало, а потом приходит в бытие, станешь утверждать, что и Сыну надлежало из небытия прийти в бытие, то уравняешь между собой несравнимое — Бога и человека, тело и бестелесное. В таком случае Сын должен и страдать, и разрушаться, подобно нашим телам. Ты из рождения тел во времени заключаешь, что и Бог так рождается; а я заключаю, что Он рождается не так, из того самого, что тела так рождаются. Ибо что не сходно по бытию, то не сходно и в рождении; разве допустишь, что Бог и в других отношениях подлежит законам вещества, например, страждет и скорбит, жаждет и алчет, и терпит все, свойственное как телу, так вместе и телу и бестелесному. Но этого не допускает твой ум; потому что у нас слово о Боге. Поэтому и рождение допускай не иное, как Божеское.

Но спросишь: если Сын рожден, то как рожден? Отвечай прежде мне, неотступный совопросник: если Он сотворен; то как сотворен? А потом и меня спрашивай: как Он рожден? Ты говоришь: «И в рождении страдание, как страдание в сотворении. Ибо без страдания ли бывает составление в уме образа, напряжение ума и представленного совокупно разложение на части? И в рождении также время как творимое созидается во времени. И здесь место, и там место. И в рождении возможна неудача, как в сотворении бывает неудача (у вас слышал я такое умствование); ибо часто, что предначертал ум, того не выполняли руки». Но и ты говоришь, что все составлено словом и хотением. *Ибо* *Он сказал,* — *и сделалось; Он повелел, — и явилось* (Пс. 32,9). Когда же утверждаешь, что создано все Божиим словом; тогда вводишь уже не человеческое творение. Ибо никто из нас производимого им не совершает словом. Иначе, не было бы для нас ничего ни высокого, ни трудного, если бы стоило только сказать, и за словом следовало исполнение дела. Поэтому, если Бог созидаемое Им творит словом, то у Него не человеческий образ творения.

И ты, или укажи мне человека, который бы совершил что-нибудь словом, или согласись, что Бог творит не как человек Предначертай по воле свой город; и пусть явится у тебя город. Пожелай, чтобы родился у тебя сын; и пусть явится младенец. Пожелай, чтобы совершилось у тебя что-либо другое; и пусть желание обратится в само дело. Если же у тебя не следует ничего такого за хотением, между тем как в Боге хотение есть уже действие, то ясно, что иначе творит человек, и иначе — Творец всего — Бог. А если Бог творит не по-человечески: то как же требуешь, чтобы Он рождал по-человечески? Ты никогда не был, потом начал бытие, а после и сам рождаешь, и таким образом приводишь в бытие то, что не существовало, или (скажу тебе нечто более глубокомысленное) может быть, и сам ты производишь не то, что не существовало. Ибо и Левий, как говорит Писание, был *еще в чреслах отца* (Евр. 7,10), прежде нежели произошел на свет. И никто да не ловит меня на этом слове, я не говорю, что Сын так произошел от Отца, как существовавший прежде в Отце, и после уже приходящий в бытие; не говорю, что Он сперва был несовершен, а потом стал совершенным, каков закон нашего рождения. Делать такие привязки — свойственно людям неприязненным, готовым нападать на всякое произнесенное слово. Мы не так умствуем; напротив, исповедуя, что Отец имеет бытие нерожденно (а Он всегда был, и ум не может представить, чтобы когда-либо не было Отца), исповедуем вместе, что и Сын был рожден, так что совпадают между собой и бытие Отца и рождение Единородного, от Отца сущего, и не после Отца, разве допустим последовательность в одном только представлении о начале, и о начале, как о Виновнике (не раз уже возвращаю к тому же слову дебелость и чувственность твоего разумения).

Но ежели без пытливости принимаешь рождение (когда так должно выразиться) Сына, или Его самостоятельность (), или пусть изобретет кто-нибудь для этого другое, более свойственное предмету речение (потому что умопредставляемое и изрекаемое превосходит способы моего выражения), то не будь пытлив и касательно исхождения Духа. Достаточно для меня слышать, что есть Сын, что Он от Отца, что иное Отец, иное Сын; не любопытствую об этом более, чтобы не подпасть тому же. Что бывает с голосом, который от чрезмерного напряжения прерывается, или со зрением, которое ловит солнечный луч. Чем кто больше и подробнее хочет видеть, тем больше повреждает чувство, и в какой мере рассматриваемый предмет превышает объем зрения, в такой человек теряет саму способность зрения, если захочет увидеть целый предмет, а не такую часть его, какую мог бы рассмотреть без вреда. Ты слышишь о рождении: не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца: не любопытствуй знать, как исходит.

Но если любопытствуешь о рождении Сына и об исхождении Духа; то полюбопытствую и я у тебя о соединении души и тела: как ты — и перст, и образ Божий? Что в тебе движущее, или движимое? Как одно и то же и движет, и движется? Как чувство пребывает в том же человеке и привлекает внешнее? Как ум пребывает в тебе и рождает понятие в другом уме? Как мысль передается посредством слова? Не говорю о том, что еще труднее. Объясни вращение неба, движение звезд, их стройность, меры, соединение, расстояние, пределы моря, течение ветров, перемены времен года, излияние дождей. Ежели во всем этом ничего не понимаешь ты, человек (уразумеешь же, может быть, со временем, когда достигнешь совершенства, ибо сказано: *взираю на небеса, дело рук Твоих* (Пс. 8,4), а из этого можно догадываться, что видимое теперь — не сама истина, но только образ истины; ежели и о себе самом не познал — кто ты, рассуждающий об этих предметах; ежели не постиг и того, о чем свидетельствует даже чувство, то как же предпримешь узнать в подробности, что такое и как велик Бог? Это показывает великое неразумие!

Если же поверишь несколько мне, не дерзновенному богослову, то скажу тебе, что одно ты уже постиг, а чтобы постигнуть другое, о том молись. Не пренебрегай тем, что в тебе; а прочее пусть остается в сокровищнице. Восходи посредством дел, чтобы через очищение приобретать чистое. Хочешь ли со временем стать богословом и достойным Божества? Соблюдай заповеди и не выступай из повелений. Ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию. Трудись телом для души. И может ли кто из людей стать настолько высоким, чтобы прийти в меру Павлову? Однако же и он говорит о себе, что видит только *сквозь тусклое стекло, гадательно,* и что наступит время, когда узрит *лицом к лицу* (1Кор. 13,12). Положим, что на словах и превосходим мы иного любомудрием, однако же, без всякого сомнения, ты ниже Бога. Может быть, что ты и благоразумнее другого; однако же перед истиной в такой же мере ты мал, в какой бытие твое отстоит от бытия Божия. Нам дано обещание, что познаем некогда, как сами познаны (1 Кор. 13, 12). Если невозможно иметь мне совершенного познания здесь; то что еще остается? чего могу надеяться? Без сомнения, скажешь — небесного царства. Но думаю, что оно есть не что иное, как достижение чистейшего и совершеннейшего. А совершеннейшее из всего существующего есть ведение Бога. Это-то ведение частью да храним, частью да приобретаем, пока живем на земле, а частью да сберегаем для себя в тамошних сокровищницах, чтобы в награду за труды приять всецелое познание Святой Троицы, что Она, какова и колика (если позволено будет выразиться так), в самом Христе Господе нашем, Которому слава и держава во веки веков, аминь.

# СЛОВО 21. Похвальное Афанасию Великому, архиепископу Александрийскому

Хваля Афанасия, буду хвалить добродетель; ибо одно и то же — наименовать Афанасия и восхвалить добродетель; потому что все добродетели в совокупности он в себе имел или, справедливее сказать, имеет, так как перед Богом живы все, жившие по Богу, хотя и переселились они отсюда; почему Бог и называется Богом Авраама, Исаака и Иакова, как Бог *не мертвых, но живых* (Матф.22,32).

А хваля добродетель, буду хвалить самого Бога, от Которого в людях добродетель и дар возрождения или возвращения к Нему через сродное озарение. Ибо из многих и великих даров, которые мы получили и получим еще от Бога и которых числа и великости никто изречь не может, дар наибольший и наиболее свидетельствующий о Божием к нам человеколюбии есть наше к нему стремление и сродство с Ним. Что солнце для существ чувственных, то Бог для духовных: одно освещает мир видимый, Другой — невидимый; одно телесные взоры делает солнцевидными, Другой разумные естества — богоподобными. И как солнце, доставляя возможность видящему видеть, а видимому быть видимым, само гораздо превосходнее видимого, так Бог, устраивающий, чтобы существа мыслящие имели дар мышления, а мыслимые были предметом мышления, Сам выше всего мысленного, и всякое желание останавливается на Нем, далее же никуда не простирается. Ибо далее Его ничего высшего и даже вовсе ничего не находит ум самый любомудрый, превыспренний и любоиспытательный. Бог есть последнее из желаемых, успокоение всех бывших умозрений. Кто успел с помощью рассудка и умозрения расторгнуть вещество и плотское (если назвать так) облако, или покрывало, приблизиться к Богу, насколько доступно человеческой природе, и соединиться с чистейшим светом, тот блажен, по причине как восхождения отсюда, так и тамошнего обожествления, к которому приводит истинное любомудрие и возвышение над вещественной двойственностью ради единства, умопредставляемого в Троице. А кто от сопряжения с веществом стал хуже и настолько прилепился к бренному, что не может воззреть на сияние истины и возвыситься над дольним, тогда как сам произошел свыше и призывается к горнему, тот для меня жалок, по причине ослепления, хотя бы он и благоуспешен был в здешней жизни; даже тем более жалок, чем более обольщается своим счастьем и верит, что есть другое благо, кроме блага истинного, пожиная тот вредный плод своего вредного мнения, что или осуждается во тьму, или как на огонь смотрит на того, Кого не признал за свет.

Такое любомудрие и из новых, и из древних достигнуто немногими (ибо немного Божиих, хотя и все — Божие создания): достигнуто законодателями, военачальниками, священниками, пророками, евангелистами, апостолами, пастырями, учителями, всей духовной полнотой, всем духовным собором, а между ними и восхваляемым ныне мужем. Кого же подразумеваю под достигшими? — Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, двенадцать Патриархов, Моисея, Аарона, Иисуса, Судей, Самуила, Давида, Соломона до известного времени, Илию, Елисея, пророков, живших прежде и после пленения, и тех, в порядке последних, но в действительности первых, которые близки ко времени Христова воплощения или восприятия Христом плоти, — этот светильник, претекший Свету, этот глас, предваривший Слово, этого ходатая, предшествовавшего Ходатаю, этого посредника между Ветхим и Новым Заветом, этого славного Иоанна и учеников Христовых, и тех, которые после Христа или председательствовали в народе, или прославились учением, или стали известны по чудесам, или запечатлелись кровью. И из этих-то мужей Афанасий одним ни в чем не уступал, другим уступал в немногом, а некоторых (если не дерзко будет сказать) даже превзошел, подражая кому в слове, кому в деле, кому в кротости, кому в ревности, кому в перенесении опасностей, кому во многом, кому во всем. Заимствуя у одного ту, у другого другую красоту, как делают живописцы, старающиеся довести изображаемый предмет до крайнего изящества, и совокупив все это в одну свою душу, он из всего составил единый облик добродетели, сильных в слове превзойдя деятельностью, а деятельных — словом, или, если угодно, превысив в слове — прославившихся словом, и в деятельности — самых деятельных, а посредственных в слове и деле — превосходством в том и другом, высоких же в одном из двух оставив ниже себя и словом и делом. И если к славе предшественников его служит, что они были для него образцом доблестей; то этому нашему украшению не в меньшую обращается похвалу, что он стал образцом для своих преемников.

Как на описание всех его доблестей и на изъявление им удивления потребовалось бы, может быть, больше времени, нежели сколько должно занять настоящее слово; притом все это было бы делом не похвального слова, а истории (и я в назидание и услаждение потомству желал бы изобразить его доблести особым писанием, как и он описал жизнь божественного Антония, изложив в виде повествования правила монашеской жизни), то из многих его дел, большую часть предоставив знающим, коснусь немногих, какие на этот раз приходят мне на память как более известные, чтобы только удовлетворить собственному желанию и воздать должное празднику. Ибо не благочестно и не безопасно было бы чтить памятью жития нечестивых, а обходить молчанием мужей, прославившихся благочестием, и притом в городе, который едва ли спасут и многие примеры добродетелей, потому что он божественные предметы обращает в забаву так же, как скачки и зрелища.

Афанасий рано был напоен божественными правилами и уроками, употребив немного времени на изучение наук общеупотребительных, с тем только, чтобы и в этом не казаться совершенно неопытным и не знающим того, что почитал достойным презрения. Он не потерпел, чтобы благородные и обильные дарования души были упражняемы в предметах суетных; не захотел подвергнуться участи неопытных борцов, которые, поражая чаще воздух, нежели противников, не достигают наград. Изучив все книги Ветхого и Нового Завета, как другой не изучал и одной, он обогащает себя умозрительными сведениями, обогащает и светлостью жизни, и удивительным образом сплетает из того и другого эту подлинно золотую, для многих неудобосплетаемую цепь, употребив жизнь в руководство к умозрению, и умозрение, как печать жизни. Ибо правило, что *начало мудрости страх Господень* (Пс. 110,10. Притч. 1,7), есть как бы первая только пелена; мудрость же, превозмогшая страх, перешедшая в любовь, делает нас Божиими друзьями и из рабов сынами.

Так воспитанный и обученный, как и надлежало бы и ныне готовящимся быть представителями народа и иметь попечение о великом теле Христовом, по великому Божию совету и предведению, которое задолго прежде полагает основание важных событий, он сопричисляется к этому великому алтарю, делается одним из приближенных *приближающихся* к Богу (Лев. 10, 3), удостаивается священного стояния и чина, и когда прошел весь ряд степеней, тогда (чтобы не говорить о средних) дается ему председательство в народе, или, что то же, вверяется попечение о целой Вселенной; и священство приемлет он (не умею сказать) как награду за добродетель, или как источник и жизнь Церкви. Ибо нужно было, чтобы Церковь, томимая жаждой истины и едва дышащая, была напоена, как Исмаил (Быт. 21,15—20), или прохлаждена из источника, как Илия, в земле иссохшей от бездождия (3 Цар. 17,2—6), и оживотворилась, чтобы оставлено было *семя* Израилю (Ис. 1,9), и мы не стали как Содом и Гоморра, эти города, потопленные *огнем* и *серой* (Быт. 19, 24) и известные своими пороками и еще более своей погибелью.

Поэтому нам, повергнутым уже долу, воздвигнут рог спасения, благовременно ниспослан краеугольный камень, связующий нас с самим собой и друг с другом, или огонь, очищающий гнилое и вредное вещество, или лопата земледельца, отделяющая в учении легкое от полновесного, или меч, отсекающий корни злобы. И Слово находит своего поборника, и Дух приобретает мужа, который за Него будет дышать ревностью. Так и для таких причин, по приговору всего народа, не в подражание худому образцу, превозмогшему впоследствии, не с помощью убийств и насилий, но апостольски и духовно, возводится он на престол Марка преемником его должности, а не менее и благочестия; ибо хотя далек от него в первом, однако же близок в последнем. А в этом собственно и надобно поставлять преемственность; ибо единомыслие делает и единопрестольными, разномыслие же разнопрестольными. И одна преемственность бывает только по имени, а другая в самой вещи. Ибо тот истинный преемник, кто не употребил, а разве потерпел принуждение, кто возведен, не преступив закон, но по закону, кто не противного держится учения, но туже содержит веру; если только называешь преемником не в том смысле, в каком болезнь преемствует здравию, мрак — свету, буря — тишине, исступление — здравомыслию.

Так он возводится, так и распоряжается властью. Не следует обычаю вступить на престол и тотчас предаться своеволию от пресыщения, подобно тем, которые сверх чаяния захватывают какую-либо власть или наследство. Это свойственно священникам чуждым, незаконным и недостойным сана, которые, приступая к священству, ничего не привносят с собой, нимало не потрудившись для добродетели, оказываются вместе и учениками и учителями благочестия, и когда сами еще не очистились, начинают очищать других. Вчера святотатцы, а ныне священники, вчера не смевшие приступить к святыне, а ныне тайноводители, устаревшие в пороках и новоявленные в благочестии, произведение человеческой милости, а не дело благодати Духа, — они весь путь свой ознаменовали насилием, и, наконец, гнетут само благочестие; не нравы дают им степень, а степень — нравы (так много превратился порядок!); им больше надобно приносить жертвы за себя, нежели *за грехи неведения народа* (Евр. 9, 7); они непременно грешат в одном из двух: или, имея нужду в снисхождении, чрезмерно снисходительны, так что не пресекают порок, а учат пороку; или строгостью власти прикрывают собственные дела свои.

Но Афанасий не имел ни одного из этих пороков, напротив, насколько высок был делами, настолько смирен сердцем; в добродетели никому недоступен, а в обращении всякому весьма благоприступен, кроток, негневлив, сострадателен, приятен в беседе, еще приятнее по нраву, ангелоподобен наружностью, еще ангелоподобнее сердцем; когда делал выговор, — был он спокоен; когда хвалил, — назидателен. Он ни одного из этих добрых качеств не портил неумеренностью: у него выговоры были отеческие и похвалы, приличные начальнику; и мягкость не составляла слабости, и строгость — жестокости; напротив, первая представлялась снисходительностью, последняя — благоразумием, а та и другая — любомудрием. Ему немного было нужно слов, потому что для наставления других достаточно было его жизни; ему редко нужен был жезл, потому что достаточно было слова, и еще реже нужно было употреблять сечение, потому что достаточно было жезла, поражающего слегка.

Но для чего мне описывать вам этого мужа? Его описал уже Павел, частью, когда восхваляет (Евр. 4,14) *Первосвященника великого, прошедшего небеса* (да дерзнет и на это мое слово, потому что Писание называет Христами живущих по Христе!), — частью когда в послании к Тимофею дает ему закон. Изображая словом, каков должен был предназначаемый для епископства (1 Тим. 3,1 —7). Ибо если закон этот как правило приложишь к похваляемому в этом именно отношении, то ясно увидишь его прямизну.

Приступите же со мной к православию Афанасия и подайте помощь мне, который затрудняется в слове, и желая большую часть обойти молчанием, останавливается на каждом его деянии, не умея отыскать превосходнейшего, как трудно бывает это находить в теле, со всех сторон одинаково и прекрасно отделанном, ибо что ни представится, все то оказывается прекрасным, всем тем увлекается слово. Итак, пусть разделит со мной его доблести всякий, кто хочет быть вещателем ему похвал и свидетелем; пусть все вступят в прекрасное друг с другом состязание — мужи и жены, юноши и девы, старцы с юными, священники и народ отшельники и подвизающиеся в общежитии, любители простоты и строгой точности, ведущие жизнь созерцательную и деятельную! Пусть восхваляют — кто как бы бесплотность и невещественность его в пощениях и молитвах, а кто бодрость и неутомимость во бдениях и псалмопениях, один предстательство за нуждающихся, другой противоборство превозносящимся, или снисходительность к смиренным; девы — невестоводителя, супруги — наставника целомудрию, пустынножители — окрыляющего, пребывающего в общежитии — законодателя, любители простоты — руководителя, ведущие жизнь созерцательную — богослова, живущие в веселье — узду, бедствующие — утешителя, седина — жезл, юность — детовождение, нищета — снабдителя, обилие —домостроителя! Думаю, что и вдовы восхвалят покровителя, сироты — отца, нищие — нищелюбца, странники — страннолюбца, братья — братолюбца, больные — врача, оказывающего помощь при всякой болезни, здоровые — охранителя здоровья, и все — *для всех сделавшегося всем* (1 Кор. 9,2 2), да всех, или как можно большее число люд ей, приобретет.

Итак, все это, как сказал я, пусть почтут удивлением и похвалами другие, у кого столько досуга, чтобы дивиться малым его совершенствам! А когда называю малыми, — говорю это, сравнивая его с ним же самим и сличая доблести его с его же собственными. Ибо *не оказывается славным,* как сказано*, прославленное,* сколь оно ни славно, *по причине преимущественной славы последующего* (2 Кор. 3,10). Между тем и немногих из его доблестей достаточно было бы другим для прославления. Но мне, которому непозволительно, оставив слово, заняться чем-либо маловажным, и в его совершенствах надобно обратиться к главнейшему. Впрочем сказать что-нибудь достойное его красноречия и душевных качеств есть дело Божие, а для Бога и это слово.

Процветали и прекрасно шли некогда наши дела; тогда во Дворы Божий не имело доступа это излишнее, сладкоречивое и ухищренное богословствование. Напротив, сказать или услышать о Боге что-нибудь новое и удовлетворяющее одному любопытству, значило то же, что играть в камни и скоростью их перекидывания обманывать зрение, или забавлять зрителей разнообразными и женоподобными движениями тела. Простота же и благородство слова почитались благочестием. Но после того как Сексты и Пирроны и охота к словопрениям, подобно какой-то тяжкой и злокачественной болезни, вторглись в наши церкви, пустословие стали почитать ученостью, и, как в книге Деяний говорится об афинянах (17,21), мы *ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать новое;* с этого времени какой Иеремия, один умеющий составить плач, равномерный страданиям, оплачет наш позор и омрачение! Начало этому бешенству положил Арий, соименный умоисступлению, который и понес наказание за необузданность языка, по действию молитвы, а не по болезни, приняв конец жизни в нечистом месте и рассевшись, как Иуда, за равное с ним предательство Слова. А другие, наследовав этот недуг, составили из нечестия науку; они, ограничив Божество Нерожденным, изгнали из Божества не только Рожденного, но и Исходящего, чествуя Троицу одним общением имени, или даже итого не соблюдая. Но не так учил этот блаженный, поистине Божий человек и великая труба истины. Зная, что Трех сокращать в одно число безбожно и есть нововведение Савеллия, который первый выдумал такое сокращение Божества, а также Трех разделять по естеству значит вводить в Божество странное сечение, — он и прекрасно соблюл единое относительно к Божеству, и благочестно научил признавать Трех, относительно к личным свойствам, не слив Их воедино и не разделив на трех, но пребыв в пределах благочестия через избежание как излишней преклонности к тому или другому, так и излишнего сопротивления тому и другому. И этим, во-первых, на святом Соборе в Никее, среди этого числа избранных мужей, которых Дух Святой собрал воедино, он, насколько зависело от него, прекратил недуг. И хотя не был еще возведен в сан епископа, однако же удостоен первенства между собравшимися; ибо добродетель уважалась не меньше степеней.

Потом, когда зло было вновь оживлено дуновением лукавого и объяло большую часть Вселенной (с этого времени открываются передо мной действия, наполнившие собой почти всю сушу и море), тогда на Афанасия, как мужественного поборника Слова, воздвигается сильная брань (ибо на того более и нападают, кто более противится), и отовсюду новые и новые устремляются на него беды; потому что нечестие изобретательно на зло и нападает с крайней дерзостью. Да и могли ли щадить людей не пощадившие Божества? Особенно одно из нападений было очень жестоко. И я в этом деле имею свою часть*.* Но да извинят в этом любезную страну — отечество! В злом деле виновны не страна, нас произведшая, но сами избравшие зло; она священна и всякому известна своим благочестием, а эти недостойны Церкви, их породившей. Вы слыхали, что и в винограднике родится терн, что Иуда, один из учеников, стал предателем. Иные прощают вину соименному мне, который из любви к наукам проживая тогда в Александрии, и благосклонно принятый Афанасием, как один из самых любимых детей пользуясь весьма великим у него доверием, замыслил, как говорят, восстать против отца и покровителя. И хотя действовали другие, однако же с ними была, что *называется, рука Авессалома* (2 Цар. 18,18). Если кто из нас знает эту руку, за которую оклеветали Святого, и этого живого мертвеца, и это несправедливое изгнание; то поймет, о чем говорю. Впрочем, охотно предам это забвению. По моему рассуждению, в делах, подлежащих сомнению, надобно преклоняться к человеколюбию, и более извинять, нежели обвинять подвергаемых обвинению; потому что злому очень легко обвинить и доброго, а доброму трудно обвинить и злого. Кто нерасположен к злу, тот неспособен и к подозрению.

Но вот уже не слово, а дело; не подозрение, оставшееся без исследования, но достоверное и оглашенное происшествие. Одно каппадокийское чудовище, явившееся с дольних пределов нашей страны, худое родом, еще худшее сердцем, по происхождению не вполне свободное; но нечто смешанное, подобно тому, что знаем о мулах, — человек, который сначала прислуживал за чужим столом, продавши себя за кусок хлеба, привык все делать и говорить для чрева, потом, к несчастью, домогся общественной службы и получил в ней самое последнее место — приемщика свиных туш, какими питается войско, но и здесь употребил доверенность во зло и служил только чреву, — когда у него было все отнято, замышляет бегство и, переходя из страны в страну, из города в город, как свойственно беглецам, наконец, к общему вреду Церкви, подобно одной из египетских язв, достигает Александрии. Здесь прекращается его скитание и начинается злокозненность. Хотя в других отношениях не заслуживал он никакого внимания, не знал свободных наук, не имел ни приятности в беседе, ни даже вида и пустой личины благочестия, однако же всех был искуснее строить козни и приводить дела в замешательство. Все вы знаете и сами можете рассказать, сколько дерзостей учинил он против Святого. Ибо нередко и праведники предаются в руки нечестивых, — не к славе нечестивых, но для испытания праведных. И хотя, по Писанию, *виновные смертью лютой погибнут, но* в настоящей жизни *посмеваются* благочестивым (Иов. 9, 23), пока сокрыты и милость Божия, и великие сокровищницы уготованного тем и другим впоследствии, когда и слово и дело и помышление будут взвешены на праведных весах Божиих; когда Бог восстанет судить землю, соберет намерения и дела и обнаружит все, что у Него запечатлено и соблюдено.

В этом да убедит тебя Иов и словом, и страданиями своими. Он был *человек справедлив, непорочен, праведен, богобоязнен* (Иов. 1,1) и прочее, как свидетельствует о нем Писание; однако же испросивший его поражает столь многими, непрерывными и щедрыми ударами, что из великого множества во все времена злострадавших и, как вероятно, несших тяжелые бедствия никто не сравнит несчастий своих с его. Ибо у Иова не только деньги, имущество, благочадие и многочадие, — что для всякого человека весьма дорого, не только, говорю, отъемлется все это, и при беспрерывности бедствий нет времени слезам, но напоследок само тело поражено неисцельной и отвратительной для взора язвой, а в дополнение несчастия есть жена, дающая советы на худшее, старающаяся вместе с телом поразить и душу; есть искреннейшие *друзья, жалкие утешители,* как сам он говорит (Иов. 16, 2), а не врачеватели, которые видят страдания, но, не зная тайны страданий, признают бедствие его не испытанием добродетели, но наказанием за грехи, и не только содержат это в мыслях, но не стыдятся даже укорять его самим несчастием, тогда как надлежало бы облегчить скорбь словами утешения, если бы Иов страдал и за грехи. Так было с Иовом; таково начало дела его; это была *борьба* добродетели и зависти; зависть силилась победить добро, а добродетель, чтобы остаться непобедимой, все переносила; одна подвизалась из того, чтобы проложить путь пороку наказанием благоуспевших, а другая из того, чтобы поддержать добрых, имеющих преимущество и в самих несчастиях. Что же Вещающий к нему *сквозь бурю и облака* (Иов. 38,1), Медленный в наказании и Скорый на помощь, не *оставляющий* вовсе *жезла нечестивых над жребием праведных* (Пс. 124, 3), дабы не научились праведные беззаконию? При конце подвигов громким провозглашением вызывает подвижника и открывает тайну поразившего его удара, говоря: *«Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя* (Иов. 40,3)? Таково врачевание от ран! Таков венец за подвиги! Такова награда за терпение! А последовавшее за этим, может быть, и маловажно, хотя для некоторых кажется великим, да и совершено Промыслом ради людей малодушных, хотя и с усугублением получает Иов потерянное.

Поэтому и здесь неудивительно, что Георгий превозмог Афанасия; напротив, удивительнее было бы, если бы праведник не вынес испытания в огне клеветы. Даже и это не очень удивительно, а удивительнее то, что пламени этого достаточно было к произведению большего. Афанасий удаляется оттуда и самим бегством пользуется как можно лучше. Ибо поселяется в священных и божественных обителях египетских отшельников, которые, разлучившись с миром и возлюбив пустыню, живут для Бога, посвятив Ему себя более всех пребывающих во плоти. Одни из них ведут совершенно уединенную жизнь без сообщения с людьми, беседуют единственно с самими собой и с Богом, и то одно почитают миром, что знают о нем в пустыне. Другие, своей общительностью выполняя закон любви, вместе пустынники и общежительные; для прочих людей и вещей, для всего, что кружится перед нами, то увлекая, то увлекаясь и обольщая нас быстрыми переменами, — они умерли, а друг для друга составляют целый мир, взаимным примером поощряя друг друга к добродетели. С ними беседуя великий Афанасий, как к для всех других был он посредником и примирителем, подражая *Умиротворившему кровью Своею* то*,* что было разлучено (Кол. 1, 20), так примиряет и пустынножительство с общежитием, показав, что и священство совместно с любомудрием, и любомудрие имеет нужду в тайноводстве; ибо в такой мере согласил между собой то и другое, и соединил в одно как безмолвное делание, так и деятельное безмолвие, что убедил поставлять монашество более в благонравии, нежели в телесном удалении от мира. Почему и великий Давид был насколько деятельнейший, настолько и самый уединенный человек, если в подтверждение нашего слова сильно и несомненно сказанное им: *а я перейду* (Пс. 140,10). Таким образом, превосходящие других добродетелью были ниже Афанасия разумением в большей мере, нежели в какой превосходили других, и немногое привнося от себя к совершению священства, гораздо более сами заимствовали к усовершению любомудрия. То для них было законом, что он одобрял, и все то опять отвергалось ими, чего он не одобрял; его определения служили для них Моисеевыми скрижалями; к нему больше имели почитания, нежели сколько люди должны иметь к святым. И когда явились к ним преследовавшие Святого, как зверя, после того как всюду искали его и не находили; тогда они не удостоили посланных даже одним словом, но преклонили головы свои под мечи, как бы бедствуя за Христа; и претерпеть за Афанасия что-либо самое тяжкое почитали величайшим приобретением для любомудрия, ставили это гораздо богоугоднее и выше продолжительных постов, возлежаний на голой земле и других злостраданий, какими они всегда услаждаются. Такова была тогдашняя жизнь Афанасия; он оправдывал собой слова Соломона, который любомудрствовал, что есть *время всякой вещи* (Еккл. 3,1). Поэтому и скрылся он не надолго, пока продолжалась брань, чтобы явиться с наступлением мира, что и исполняется в скором времени.

А Георгий, не видя уже ни от кого противодействия, обходит Египет, покоряет силе нечестия Сирию, захватывает, насколько мог, и Восток. Как ручьи принимают в себя все стоки, так и он собирает к себе все немощное, — нападая на людей более легкомысленных или робких; овладевает простотой царя (так назову его легковерие, уважив усердие к Вере, потому что, если говорить правду, он *имея ревность,* но *не по разуму* (Римл. 10,2); и как всюду пролагало ему путь достояние нищих, употребляемое на худые дела, — подкупает некоторых вельмож — более златолюбивых, нежели христолюбивых, особенно же между ними людей женоподобных, мужей по имени, не имеющих в себе ничего мужского, сомнительных родом, но отъявленных нечестием, которым римские государи, поверяя дела женские, не знаю как и почему, вручают вместе и дела мужские. Так усилился этот служитель лукавого, сеятель плевел, предтеча антихристов. Вместо языка употреблял он красноречивейшего из тогдашних епископа (если угодно назвать красноречивым этого не столько защитника нечестия, сколько нашего врага и состязателя; о имени его умолчу охотно); а сам служил своему скопищу вместо руки, и истину ниспровергал золотом, которое собиралось на дела благочестивые, но злонамеренными людьми обращаемо было в орудие нечестия. Следствием этого преобладания был собор, составленный прежде в Селевкии, во храме святой и доблестной Девы Феклы, а потом в этом великом городе; и городам, славившимся прежде доблестями, дал именитость делами позорными этот столп Халанский (Быт. 10,10.11,2—9), благовременно разделивший языки (о если бы разделил и их языки, потому что согласие у них на зло!), — это Каиафино соборище, на котором осуждается Христос, — или как иначе должно назвать этот собор, все извративший и приведший в замешательство. Он разрушил древнее и благочестивое исповедание Троицы, подкопав и как бы стенобитными орудиями потрясши Единосущие, а вместе отверз дверь нечестию неопределенностью написанного, под предлогом уважения к Писанию и употреблению давно принятых наименований, в действительности же, чтобы вместо них ввести неписаное () арианство. Ибо слова: подобен по писаниям, для простых служили приманкой, покрывавшей уду нечестия, — изображением, которое смотрит в глаза всякому мимоходящему, — обувью, сшитой на обе ноги, — веянием при всяком ветре (Сир. *5,11).* Он основывал права свои на новописаном злоухищрении, на клевете против истины; ибо они были мудры на злые дела, но не умели делать добра. Отсюда то хитро придуманное осуждение еретиков, которых они отлучили на словах, чтобы замысел свой сделать привлекательным, а в самом деле выставляли только на вид, обвинив не за тяжкое несчастие, а за чрезмерную охоту писать. От этого непосвященные стали судьями преподобных, произошло новое смешение, — в собраниях народных рассматриваются предметы священно-таинственные; от этого незаконное исследование жизни, наемные доносчики и суд по договору; одни несправедливо свергаются с престолов, другие возводятся на их место, и у этих как чего-то необходимого требуют рукописании нечестия, и чернила готовы и доносчик подле. Этому подверглись весьма многие из нас, даже люди самые твердые; они не мыслью пали, но согласились на письме, вступили в единение с лукавыми и в мыслях, и на письме, и сделались причастниками, если не огня, то по крайней мере—дыма.

Я нередко проливал слезы, представляя себе тогдашнее разлитие нечестия и ныне восставшее гонение на правое слово от представителей слова. Подлинно, обезумели пастыри, по-написанному: *множество* *пастухов испортили Мой виноградник,* посрамили *любимый участок Мой* (Иер. 12,10), то есть Церковь Божию, собранную многими трудами и жертвами, закланными до Христа и после Христа, и великими страданиями за нас самого Бога. За исключением весьма немногих, которые или обойдены по своей малозначительности, или противоставили своими доблестями и должны были остаться для Израиля семенем и корнем, чтобы снова возникнуть и оживотвориться потоками духа, все покорились обстоятельствам времени, с тем только различием, что одни подверглись этому прежде, другие после. Одни стали поборниками и покровителями нечестия, другие заняли второстепенные места и были или поражены страхом, или порабощены нуждой, или уловлены ласкательством, или вовлечены по неведению, что составляет меньшую вину, если для кого достаточно и этого к извинению тех, которым вверено попечение о народе. Ибо как не одинаковы стремления у львов и у других животных, а равно у мужей и жен, у старых и юных, напротив, немало различия в каждом возрасте и поле, так есть разность между начальниками и подчиненными. Может быть, извинили бы мы и простолюдинов, если бы с ними случилось это; их часто спасает невникательность, но как простим это учителю, который, если только не лжеименный, должен помогать в неведении другим? Если всякому, насколько бы кто ни был груб и невежествен, непростительно не знать какого-либо римского закона, и если нет такого закона, который бы покрывал сделанное по неведению; то не странно ли — тайноводствующим ко спасению не знать начал спасения, хотя бы они во всем другом были и очень просты и неглубокого ума? Впрочем, пусть получат извинение те, которые последовали нечестию по неведению. Что же скажешь о прочих, которые сами себе приписывают проницательность и по сказанным выше причинам уступили превозмогающей силе, которые долго представляли собой людей благочестивых, а как скоро встретилось нечто изобличающее, тотчас преткнулись.

Слышу сказанное в Писании, что *еще раз потрясутся небо и земля* (Агг. 2,7), как будто бы с ними было уже это некогда прежде, и думаю, что этим означается славное обновление всех вещей. Должно верить и Павлу, который говорит, что последнее потрясение есть не что иное как второе Христово пришествие, претворение и преложение настоящей Вселенной в состояние неподвижности и непоколебимости (Евр. 12,26.27). Но и настоящее это потрясение, как рассуждаю, ничем не меньше прежде бывших, потому что им отторгнуты от нас все любомудрые, боголюбивые и заранее сожительствующие с горними мужи, которые, хотя во всем другом мирны и умеренны, однако же не могут пренесть с кротостью, когда молчанием предается Бог, и даже делаются при этом весьма браннолюбивыми и неодолимыми (ибо таков жар ревности), и готовы скорее ниспровергнуть, чего не должно, нежели пренебречь должным. За ними устремляется немалое число и народа, подобно стае птиц, улетая за улетевшими вперед, и даже теперь не перестают улетать.

Вот что значит для нас Афанасий, пока он *был* броней Церкви, и вот что вышло, когда он уступил наветам лукавых! Намеревающиеся овладеть какой-нибудь твердой крепостью, когда видят, что она неприступна и не может быть взята обыкновенными средствами, прибегают к хитрости. И что же делают? Привлекают на свою сторону деньгами или обманом начальника крепости и тогда без всякого уже труда овладевают ею. Или, если угодно, злоумышлявшие против Самсона сперва обрезали у него волосы, в которых заключалась его сила, потому взяли уже Судию и надругались над ним, как хотели и столь же властительски, как он обходился прежде с ними. Так поступили и наши иноплеменники; сперва исторгли у нас нашу силу, остригли славу Церкви и потом уже насладились догматами и делами нечестия.

В это время подпора и покровитель враждебного нам пастыря переселяется из здешней жизни, положив худой конец нехудому царствованию, но принесши, как сказывают, бесполезное раскаяние при последнем издыхании, когда всякий бывает искренним судьей самому себе, по причине ожидающего там судилища. Ибо следующие три дела сознавал он худыми и недостойными своего царствования: умерщвление родственников, возвышение Цезарем отступника и нововведения в Вере; и, как сказывают, со словами раскаяния окончил он жизнь. Тогда снова восприемлет права свои слово истины, утесненные получают полную свободу, между тем как ревность раздражает гнев, и народ александрийский узнает на опыте, каков он против оскорбителей. Жители Александрии не стерпели необузданности человека и предали позору пороки его необычайной смертью, а смерть необычайными поруганиями. Вам известны и этот верблюд, и странная ноша, и новое возвышение, и первое, а думаю, и единственное шествие — грозные и доныне для притеснителей. Когда же эта буря неправды, этот растлитель благочестия, предтеча лукавого приемлет наказание, по моему мнению, не заслуживающее одобрения (потому что надобно было смотреть не на то, что ему надлежало претерпеть, а на то, что нам следовало сделать), тогда подвижник возвращается из прекрасного странствования (так назову бегство его за Троицу и вместе с Троицею). С такой радостью встречается он жителями города и едва не всем Египтом, везде и отовсюду, даже с крайних пределов стрекающимся, что одни желают насладиться единым голосом, а другие лицезрением Афанасия, иные же, как известно об Апостолах (Деян. 5,15), освятиться одной тенью его этим новым образом тела. И потому, хотя много многим неоднократно во все времена воздано уже почестей и сделано встреч, не только народным правителям и иереям, но и частным лицам чем-нибудь прославившимся; однако же не запомнят ни об одной встрече, которая была бы многолюднее и блистательнее настоящей. Одно только можно применить к этой встрече — самого Афанасия и ему же оказанную прежде почесть, при прежнем его вступлении в Александрию, когда возвращался из такого же, по тем же причинам случившегося бегства.

Носится и следующая молва об этой почести (хотя бы и излишним было пересказывать ее, но присовокуплю к слову как бы некоторую сладость и лишний цвет). После вшествия Афанасия в город, въезжал один ипарх, вторично вступавший в эту должность. Он был наш, то есть каппадокиянин, и человек знаменитый (конечно вы догадываетесь, что говорю о Филагрии; его любили, как редко любят, и как не любили никого другого, почесть ему воздана соответственно любви и (чтобы выразить это короче) со всеми знаками уважения, начальство ему вверялось в другой раз по просьбе города и по определению царскому. При этом случае некто из народа, видя несчетное множество людей, подобное морю, необъятному для взора, как говорят, спрашивал (что и часто бывает в подобных обстоятельства) одного своего знакомого и друга: «Скажи, почтеннейший, видал ли ты когда-нибудь, чтобы столько народа и с таким воодушевлением стекалось для оказания почести одному человеку?» Никогда, отвечал юноша, — напротив, мне кажется, что и сам Констанций не удостоился бы такой почести. А именем царя хотел он означить самую высшую почесть. Но первый, с особенной приятностью и удовольствием рассмеявшись, возразил: «Что ты мне говоришь, как будто рассказывая о чем-то великом и удивительном? Думаю, что и Афанасий Великий едва ли входил с таким торжеством». И в подтверждение слов своих присовокупил одну из употребительных клятв. А этим (что, думаю, и вам понятно) хотел он выразить, что похваляемого ныне Афанасия почитает выше и самого царя. Таково было общее уважение к этому мужу, таково и доныне удивление к воспоминаемому его вшествию. Ибо жители города, разделившись по полам, возрастам и занятиям (в таком обыкновенно располагаются порядке, особенно александрийцы, когда воздают кому всенародную почесть), составляли из себя (как изобразить словом великое это зрелище?) одну реку. А поэт сказал бы, что это подлинно златоструйный и добро-классный Нил, текущий обратно из города в Херею на расстояние, как думаю, однодневного пути и далее.

Позвольте мне еще несколько насладиться повествованием. Там присутствую мысленно, и нелегко отвлечь слово от этого торжества. Он въезжал на жеребенке и почти так же (не укорите меня в безумии), как мой Иисус — *на молодом осле* (Иоан. 12,15), другое ли что хочет назнаменовать этим Слово, или народ языческий, на котором благотворно восседает Иисус, разрешив его от уз неведения. Но Иисуса приемлют на себя древесные ветви, также повергаемые на землю, и постилаемые многоцветные и испещренные одежды. И этим только не был почтен, в этом одном не сравнен высокий и многоценный муж; между тем как вшествие его изображало собой вшествие Христово. И перед ним были взывающие и предходящие; кроме того, что не одно множество детей восхваляло его, но всякий согласный и несогласный язык старавшихся превзойти друг друга в похвалах. Не буду уже говорить о всенародных рукоплесканиях, об излиянии благовоний, о всенощных бодрствованиях, об освещении целого города, об общественных и частных пиршествах и обо всем прочем, чем только города изъявляют свою радость. Все это было тогда принесено в дар ему в преизбытке и свыше всякой меры. Так и с таким торжеством чудный Афанасий вступает в свой город!

Ужели же он жил, как прилично было предстоятелю многочисленного народа, но учил, не как жил? Или подвизался, не как учил? Или подвергался бедствиям менее кого-нибудь из подвизавшихся за слово? Или почтен меньше, нежели сколько заслуживали его подвиги? Или по вшествии помрачил чем-нибудь славу, приобретенную при вшествии? Нимало; напротив, в нем все одно другим поддерживалось, и как в одной лире, все одинаково было настроено — и жизнь, и учение, и подвиги, и бедствия, и что оказано ему при возвращении, и что совершено им по возращении. Он вступает в управление Церковью, но вместе с тем не испытывал на себе того же, что бывает с людьми, которых ослепляет неумеренность гнева и которые, покорясь его владычеству, изгоняют и ниспровергают все, на первый раз им встретившееся, хотя бы оно и стоило пощады. Напротив, рассуждая, что теперь всего благовременнее заслужить ему одобрение (потому что злостраждущий всегда бывает умереннее, а получивший возможность воздать злом за зло меньше соблюдает умеренность), так кротко и снисходительно обходится с оскорбившими его, что даже и для них самих, можно сказать, не было неприятно возвращение Афанасия. Он очищает Святилище от торгующих святыней христопродавцев, чтобы и в этом стать подражателем Христовым; впрочем совершает это не свитым из веревок бичом (Иоан. 2,15), но убедительным словом. Он примиряет друг с другом и с собой беспокойных, не потребовав к тому посредников, освобождает от притеснений терпевших обиды, не разбирая, держался ли кто его или противной стороны, восстанавливает падшее учение. Снова свободно исповедуется Святая Троица, поставленная на подсвечнике и блистательным светом Единого Божества обнимающая сиянием души всех. Снова дает он законы Вселенной; обращает к себе умы всех, к одним пишет послания, других призывает к себе, а иные приходят непризванные и получают назидание. Всем же предлагает он один закон — свободное произволение; ибо это одно почитал достаточным руководством к совершенству. Кратко сказать: он подражает свойствам двух похваляемых камней; для поражающих служит адамантом, а для мятежников — магнитом, который неизъяснимой силой естества привлекает железо и приспосабливает к себе самое твердое из веществ.

Но зависть не могла терпеливо видеть, что Церковь весьма скоро, подобно телу, заживила рассеченные члены и достигла прежней славы и древнего благосостояния; поэтому против Афанасия восставляет царя, подобно себе, отступника, равного злобой и уступающего только во времени. Он первый из христианских царей, восстав против Христа и вдруг изринув из себя василиска нечестия, которым давно мучился, как скоро настало благоприятное время, вместе провозглашается самодержцем и оказывается злым против царя, вверившего ему царскую власть, а еще злейшим против Бога, его спасшего. Он вымышляет гонение лютейшее из всех, когда-либо бывших, потому что, присоединив к мучительству убеждение (так как хотел лишить страждущих и чести, приобретаемой подвигами), приводит в колебание само ревностное мужество, те обороты и хитросплетения, какие употребительны в речи, внося в саму нравственность, или, справедливее сказать, делая совершенно безнравственными, даже заботясь об этом и подражая многокозненности обитавшего в нем лукавого. Он почитал маловажным делом покорить своей воле весь род христианский, а великим — восторжествовать над Афанасием и над той силой, какую имел он в нашем учении. Ибо видел, что не успеть в своем замысле против нас, пока Афанасий — в полном вооружении и готов дать ему отпор; потому что оскудение христиан всегда восполнялось присоединяющимися из язычников и (что поистине удивительно) его благоразумием. Все это разумея и видя, этот страшный лжеумствователь и гонитель не остается долее под личиной и в хитром самопринуждении, но обнаружив свое лукавство, явно изгоняет Афанасия из города; потому что этому добродетельному победителю надлежало достигнуть полной славы после троекратной борьбы. По прошествии немногого времени, Правосудие Божие, предав злочестивого царя персам, там совершает над ним суд, и увлеченного туда любочестием возвращает мертвым, ни в ком не возбуждающим сожаления; даже, как слышал я от кого-то, его не приняла могила, но отвергла, и с пламенем изринула поколебавшаяся ради него земля, в чем вижу начало тамошнего мучения.

Но восстает другой царь, *не бессрамен лицом* (Дан. 8, 23), подобно предшествовавшему и не угнетающий Израиля тяжкими делами и приставниками, а напротив, весьма благочестивый и кроткий. Он, желая положить прочнейшее основание своему царствованию и управление по добрым законам начать, с чего надлежало, с одной стороны, возвращает из заточения епископов, как всех вообще, так прежде других превосходившего всех добродетелью и за благочестие подвергшегося явному гонению, а с другой стороны, истину Веры нашей, которую многие разоряли, затмевали, раздробили на множество толков и частей, старается дознать, чтоб особенно весь мир, сколько можно, привести в согласие и единение, содействием Святого Духа; в противном же случае, чтобы по крайней мере ему самому держаться лучшего исповедания, сделать его господствующим и себе заимствовать от него силу, — так возвышенно и достолепно рассуждал он о наиважнейших предметах! Здесь-то наиболее и обнаружилась в Афанасии чистота и твердость веры во Христа. Ибо когда все прочие, исповедовавшие наше учение, разделились на три части, и многие в учении о Сыне, а большее число в учении о Духе Святом (где и придержаться несколько нечестия почиталось благочестием) заражены были недугом, и только немногие о том и другом учили здраво, — он первый, и один, или с весьма немногими, дерзнул стать за истину ясно и открыто, на письме исповедав единое Божество и единую сущность трех (Лиц); и что прежде даровано было великому числу Отцов утвердить в догмате о Сыне, то он богодухновенно преподал впоследствии о Духе Святом, принесши царю подлинно царский и великолепный дар, то есть письменное исповедание благочестия вопреки неписаному нововведению, чтобы препобеждены были Царем — царь, Словом — слова, написанным — написанное.

Устыдившись этого исповедания, как думаю, те, в ком на Западе и на Востоке оставались еще признаки жизни, одни, если верить собственным их словам, преклонились мыслью к благочестию, но не простерлись далее, как мертвое порождение, лишившееся жизни еще в материнской утробе; другие, подобно искре, воспламенились несколько, чтобы удовлетворить обстоятельствам времени, или ревностнейшим из православных и боголюбивым из народа; а некоторые осмелились стать за истину. К последней стороне присоединился бы и я (ибо не смею похвалиться чем-либо большим) не для того, чтобы пристроить свою робость (таково расположение ума в людях наиболее слабых; а мы довольно уже строили, не приобретая чужого и губя свое, как подлинно худые домостроители), но плод свой произвести на свет, с заботливостью воспитать и представить взорам всех непрестанно совершенствующимся.

Это еще один из его подвигов, меньше достойный удивления. Ибо что удивительного, если самим делом подвергавшийся бедствиям за истину исповедал ее письменно? Но что наиболее убеждает меня удивляться этому мужу, о чем и умолчать нельзя без вреда, особенно в такое время, когда возникает много разногласий, то присовокуплю к сказанному. Да послужит деяние это уроком и для наших современников, если только захотим подражать ему. Ибо как от почерпнутой воды отделяется не только оставшееся вне почерпнувшей руки, но и вытекающее сквозь пальцы из держимого рукой, так и от нас отсекаются не одни нечестивые, но даже и благочестивые, и не только ради догматов неважных, которые не стоили бы и спора (что было бы еще не так тяжело), но даже ради речений, заключающих в себе один и тот же смысл. Ибо когда благочестно употребляем выражения: одна сущность и три Ипостаси, из которых первое означает естество Божества, а последнее — личные свойства () Трех, и когда римляне, одинаково с нами понимая, из-за бедности своего языка и из-за недостатка наименований, не могут различать сущности от Ипостаси и потому заменяют слово «Ипостаси» словом «лиц», дабы не подать мысли, что они признают три сущности, тогда что из этого выходит? Нечто весьма достойное смеха и сожаления. Это маловажное состязание о звуках показалось разностью Веры. Потом вследствие споров об этом произошло то, что в выражении «три лица», открыт савеллианизм, и в выражении «три ипостаси» — арианизм. Что ж далее? По мере того как с каждым днем прибавлялось что-нибудь хотя несколько огорчительное (так как спор всегда производит огорчения), настает опасность, что вместе со слогами расторгнутся и концы Вселенной. Все это видя и слыша, этот блаженный, как истинно Божий человек и великий строитель душ, не признал должным оставить без внимания столь неуместное и безрассудное сечение слова, но употребляет свое лечение против такого недуга. Как же он производит это? Со всей кротостью и человеколюбием пригласив обе стороны и строго исследовав смысл выражений, когда нашел их не отступающими от здравого учения и нимало не отличающимися в понятии, предоставляет им употребление разных именований, связует же во едино самим именуемым. Это полезнее продолжительных трудов и речей, какие всякий уже предает писанию, и к которым бывает несколько присоединено честолюбия, и от этого может быть вводится ими нечто и новое в самом учении. Это предпочтительнее многих бдений, возлежаний на голой земле, которые приносят пользу только упражняющимся в них. Это равняется достославным изгнаниям и неоднократному бегству самого Афанасия. Ибо за что решился он терпеть эти изгнания, то самое заботился исполнить по претерпении.

С таким постоянством действовал он и на других, кого похваляя, а кого умеренно наказывая; одних возбуждая в медлительности, в других обуздывая горячность, об иных заботясь, чтобы как-нибудь не пали, а иным подавая средства после падения исправиться. Нравом был прост, в управлении многообразен, мудр в слове, еще премудрее разумом, тихошествен со смиряющимися, возвышен с высокопарными; гостеприимен, заступник просящих, отвратитель зол, действительно в одном себе совмещающий все то, что язычники приписывали по частям которому-либо из своих богов. Присовокуплю еще, что он был покровителем супружества, другом девства, блюстителем и восстановителем мира, путеуказателем для отходящих из этой жизни. О, сколько наименований представляют добродетели Афанасия мне, желающему унаименовать этого мужа за каждую его доблесть! Поскольку же провел он такую жизнь, так был научен и учил, что дела и нравы его служат правилом для епископов, а догматы его — законом для православия: то какую приемлет награду за благочестие? Ибо не должно ничего оставлять без внимания. *В доброй старости* (1 Цар. 29,28) оканчивает он жизнь, и прилагается отцам своим — Патриархам, Пророкам, Апостолам и Мученикам, подвизавшимся за истину. И скажу краткое надгробие: при исходе его воздается ему более почестей, нежели при вшествиях. Много пролито о нем слез; но в сердце каждого осталась о нем слава, превышающая все видимое.

О любезная и священная глава! Ты, который сверх прочих своих совершенств, особенно уважал меру в слове и в молчании, положи здесь конец и моему слову; хотя оно скудно перед истиной дел Твоих, однако же не имеет недостатка в сравнении с моими силами. А сам милостиво призри свыше на нас, на этот народ, и его управь так, чтобы он был совершенным поклонником совершенной Троицы, умосозерцаемой и почитаемой во Отце и Сыне и Святом Духе, а нас, если времена будут мирны, сохрани, сопастырствуя с нами; а если настанут брани, — изведи отсюда или возьми и поставь с собой и с подобными тебе (хотя и слишком велико просимое мною) в самом Христе Господе нашем, Которому всякая слава, честь, держава вовеки, аминь.

# СЛОВО 22. О мире, произнесенное на общем собрании единоверных, бывшем после примирения

Ревность пламенна; дух кроток; любовь милосерда, или, лучше сказать, она есть само милосердие; надежда долготерпелива. Ревность воспламеняет; дух делает кротким; надежда ожидает; любовь связует и не дает рассеиваться тому, что есть в нас прекрасного, хотя по природе мы и рассеянны. С любовью бывает одно из трех: она или, пребывая в сердце, постоянна; или, поколебавшись, восстанавливается; или, удалившись, возвращается. Она подобна растениям, которые, если насильно согнуть их руками и потом оставить на свободе, опять разгибаются и приходят в прежнее положение, чем и обнаруживают в себе то свойство, что насилием можно их нагнуть, но не выпрямить. Правда, что порок по природе нам подручен и стремление к худому сильно-, это поток, который падает со стремнины; это тростник, который при ветре легко загорается от искры, весь обращается в пламень и истребляется вместе со своим порождением, ибо огонь есть порождение вещества, истребляет его, как порок — порочных, но и сам исчезает вместе с тем, что его питало. Но если бы кто-либо снискал навык к чему-либо доброму и усвоил это, то для него труднее уже будет пасть, нежели как вначале было сделаться добрым; потому что всякое добро, утвержденное временем и рассудком, обращается в природу; как и эта любовь, которая в нас и с которой совершаем мы служение любви истинной, и возлюбленной и избранной нами в руководство для целой жизни.

Итак, где же наблюдающие тщательно за нашими делами (хорошо ли, или худо они идут), наблюдающие не для того, чтобы рассудить, но чтобы осудить, наблюдающие не потому, что принимают участие, но потому, что радуются злу, на доброе клевещут, а худое выставляют на позор и в ранах ближнего ищут извинения собственным порокам? Пусть судили бы они справедливо! По пословице, и желчь была бы иногда пригодна, если бы опасение от врагов могло сделать нас более осторожными. Но теперь судят они с неприязнью и злобой, омрачающей рассудок; а потому и порицание их не имеет никакого вероятия. Итак, где они, равно ненавидящие Божество и нас? Из всех наших злостраданий славнее те, которые терпим ради Бога. Где эти снисходительные судьи собственных дел и строгие истязатели чужих, чтобы и в этом солгать истине? Где вы, которые сами покрыты глубокими ранами, а нас укоряете за всякий багровый знак, сами подвергаетесь падениям, а нас осмеиваете и за преткновение, сами утопаете в грязи, и радуетесь увидеть на нас пятно, сами слепотствуете от бревен в глазах, нас ставите в вину иметь спицу, которая не производит большой боли, пока она в глазу, и которую нетрудно вынуть из глаза, или сдунуть с него? Будьте теперь причастниками наших тайн; вас призываем в сонм свой, и ненавидимые (какая самонадеянность или какое дерзновение!) предаем себя на суд врагам, чтобы вам остаться посрамленными пли побежденными, когда сам недуг наш (что может быть страннее этого?) убедит вас в нашем здравии. Ибо не в учении о Божестве было у нас разномыслие, но подвизались мы за благочиние, и спорили не о том, которое из нечестивых учений предпочесть должно, — то ли, которым сокращается Божество, или то, которым отсекается от Божией сущности или один Дух, или с Духом и Сын, спорили, говорю, не о том, принять ли одну или двойную меру нечестия. Но таковы (кратко говоря) нынешние недуги, потому что ныне полагают *восхождения в сердце своем* (Пс. 83,6), но не исповедания, а отречения, не богословия, но богохульства; ныне все один другого расточительнее в богатстве нечестия, как будто не нечестия боятся, но того, чтобы не стать умереннее и человеколюбивее других. А мы поступаем не так. Напротив, в учении о Божестве (если не много будет сказать это) мы столько же единомышленны и согласны, сколько и Божество Само с Собой. Мы стали *один язык и одно наречие(Быт.* 11,1), но не для такой цели, для какой в древности созидавшие столп; они были единомышленниками на зло, а мы пользуемся единомыслием для всего доброго, чтобы единодушно и едиными устами славить Отца и Сына и Святого Духа, чтобы о нас можно было сказать *истинно с нами Бог* (1 Кор. 14, 25), соединяющий соединяющих и прославляющий прославляющих Его, и не только можно было сказать это, но и поверить этому.

Но есть нечто, в чем и мы соглашались. Не спорю, что и это худо; ибо не надлежало бы давать как лукавому доступа или повода, так и злым языкам свободы. Впрочем, не столько худо, как представляется нашим клеветникам. Поскольку нам, как людям, свойственно было и погрешить в чем-нибудь, то вот наш проступок — мы были весьма пастырелюбивы и не умели решить, которое из двух благ предпочтительнее, пока не согласились равно уважить то и другое. Такова наша вина, за это пусть укоряет, или прощает нас, кто хочет. На это одно могут опереться еретики. Кроме же этого ничего не найдете, хотя бы и очень желали. *Мухи мертвые* и загнившие *портят елей,* говорит некто (Еккл. 10,1), но зависть не может повредить добру, хотя и захочет, ибо *истина,* как рассуждаю с Ездрой*, сильнее всего* (2 Ездр. 4,35).

Таким образом, мы сами собой прекратили и будем прекращать собственные свои несогласия, ибо невозможно, чтобы отцы немилостиво судили детей, особенно при посредстве общеисповедуемой Троицы, за Которую воздвигают нас на брань и для Которой мы сами не будем вступать в брань. Поручителем же мира я — человек столь малый для такого дела, потому что *Господь смиренным дает благодать,* а высоких смиряет *до земли* (Иак. 4,6. Пс. 146,6). Но что из этого вам, общие наши примирители (ибо вы действительно наши примирители и невольно оказываете нам такую милость)? Если мы погрешаем в чем-нибудь большом или малом, то вы от этого не делаетесь благочестивыми. Напротив, как мы не стоим похвалы за худое, если когда падаем, так вы остаетесь не менее нечестивыми, хотя и мы согрешаем — даже еще более, потому что с нами падающими поступаете жестоко.

Но чтобы вы могли видеть наше во всем единомыслие, а из этого заключить, что мы и всегда будем единомышленными; хотя в этом, как думаю, уверило и видимое — и праводушный отец и благопокорный сын, вместе восседающие, служащие друг другу украшением, и в вас воспламенившие ту искру благочестия и единодушия, какая только есть; однако же да убедит в том и слово. И как вы слышали уже одного(ваше удивление до сих пор оглашает слух мой, а сокровенное в сердцах, очень знаю, еще больше и того, что излилось в воздух); так услышьте опять и меня, если снова желаете слышать. И если кому-нибудь из вас недостаточными доказательствами кажутся и проповеданное неоднократно, и те искушения, те метания камнями, которые я уже претерпел и готов еще претерпеть, почитая для себя потерей не страдания, но лишение страданий, тем более когда вкусил уже бедствий за Христа и приобрел от них прекрасный плод — приумножение людей этих Итак, чего хотите? Убедились ли вы этим? И мне не нужно прилагать новых трудов, не нужно в другой раз богословствовать? Вы пощадите мою немощь, по которой и это едва говорю вам? Или для вас, как для людей, имеющих тяжелый слух, надобно многократно повторять одно и то же слово, чтобы при постоянном напряжении голоса сказать наконец в уши слышащих? Мне кажется, что вы молчанием своим вызываете слово; ибо молчание, по пословице, есть знак согласия. Итак, примите слово обоих от единого сердца и из единых уст.

Скорблю о том, что не могу, взошедши на одну из высоких гор, голосом, соответствующим желанию, перед целой Вселенной, как среди общего позорища, возгласить во услышание всем неблагочестиво мыслящим: *сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи* (Пс. 4, 3)? Для чего вводите не одно простое Божие естество, но или три, между собой разъединенные и расторженные, даже (не странно будет сказать) взаимно противоборствующие по причине то излишеств, то недостатков, или хотя и одно, но скудное, заключенное в тесные пределы, не имеющее свойства быть началом чего-либо великого, потому что Оно не может, или не хочет этого, и не хочет по двум причинам: или из зависти, или из страха; из зависти, чтобы не сопривзошло чего-либо равночестного, — из страха, чтобы не произошло враждебного и противоборствующего? А между тем насколько Бог досточестнее тварей, настолько приличнее первой Причине быть началом Божества, а не тварей, настолько приличнее при посредстве Божества нисходить Ей до тварей, а не напротив, ради тварей созидаться Божеству, как угодно думать умам чрезмерно пытливым и высокопарным. Ибо ежели, исповедуя достоинства Сына и Духа, станем или признавать Их безначальными, или возводить к иному началу, то поистине опасно, чтобы или не обесчестить тем Бога, или не допустить чего-либо богопротивного. Если же (сколько ни возвышаешь Сына и Духа), не ставишь Их выше Отца, то не устраняешь Их от Причины, а напротив, к Ней возводишь и благое рождение и чудное исхождение.

Спрошу у тебя, любитель нерождения и безначалия: кто более бесчестит Бога, тот ли, что почитает Его началом такого Сына и такого Духа какими ты признаешь Их или кто исповедует Его началом не такого Сына и не такого Духа, но подобных Ему по естеству и равных в славе, какими исповедует Их наше учение? Но для тебя много, очень много чести, иметь у себя сына, даже тем больше, чем совершеннее подражает он во всем отцу и служит точным образом родителя. И не так охотно согласился бы ты стать господином тысячи рабов, как родителем одного сына. Ужели же для Бога есть что-либо выше чести быть Отцом Сына, Который служит к усугублению, а не к уменьшению Его славы, равно как и быть Изводителем Духа? Разве не знаешь, что, признавая Начало (понимаю Начало Сына и Духа) началом тварей, не чтишь самого Начала и бесчестишь исходящих из Начала? Не чтишь Начала, потому что полагаешь Его Началом чего-то такого, что мало и не достойно Божества. Бесчестишь и Исходящих из Начала, потому что делаешь Их малыми и не только тварями, но даже чем-то таким, что малочестнее самих тварей, если Они для тварей только существуют, а некогда существовали, как и художнического орудия не бывает прежде художников, даже вовсе не существовали бы, если бы Богу (как будто для Него не довольно только захотеть) не стало угодно сотворить что-нибудь через Них. Ибо все, что бывает для чего-нибудь другого, малочестнее того, для чего оно бывает. Но я, вводя начало Божества не временное, неотлучное и беспредельное, чту и Начало, а равно и Исходящих из Начала, — первое, потому что Оно начало таковых исходящих, и последних, потому что Они так, такими и из такого исходят Начала, не отдельны от Него ни временем, ни естеством, ни достодолжным Им поклонением, суть с Ним едино — но (хотя и необыкновенен такой образ выражения) раздельно, раздельны с Ним — но соединенно, не менее досточтимы — представляемые и познаваемые, как во взаимном между Собой соотношении, так и Каждый Сам по Себе, — совершенная Троица из Трех совершенных. Ибо Божество выступило из единичности по причине богатства, преступило двойственность, потому что Оно выше материи и формы, из которых состоят тела, и определилось тройственностью (первым, что превышает состав двойственности), по причине совершенства, чтобы и не быть скудным и не разлиться до бесконечности. Первое показывало бы нелюбообщительность, последнее — беспорядок; одно было бы совершенно в духе иудейства, другое — язычества и многобожия.

Беру в рассмотрение и то (а такое суждение мое, может быть, не совсем незрело и просто, но напротив, очень основательно), что для тебя нет опасности признавать Сына рожденным, потому что Нерожденный, не будучи телом и рождая, не терпит чего-либо свойственного телесному и вещественному. Даже и общие понятия о Боге дозволяют приписывать Ему рождение. Для чего же там бояться страха, где нет страха (Пс. 13,5), и держаться нечестия, как говорится, из ничего? Напротив, я опасаюсь, что исказим понятие о Божестве, если допустим в Божество тварь. Ибо сотворенный не Бог, и сослужебный нам не Владыка; хотя приписывают Ему первенство между рабами и тварями, и в этом одном оказывают снисходительность к Оскорбляемому. Но лишающий должной чести не столько чествует тем, что воздает, сколько бесчестит тем, что отъемлет, хотя воздаваемое и имеет вид почести.

И если воображаешь, что при рождении имеют место страсти, то думаю, что они имеют место и при творении. Даже не знаю, как творимое может быть сотворено бесстрастно. Если же (Сын) и не рожден, и не сотворен, то договаривай уже и остальноты, дерзающий выговорить почти то же самое, когда именуешь Его тварью. Для твоей дерзости, злой ценитель и судия Божества, нет ничего недоступного и неприкосновенного. Тебе нечем более прославиться, разве тем, чтобы, как можно дальше, отстранить Бога от владычества, что властолюбцы и лихоимцы, делают с людьми, их слабейшими.

А я буду повторять одно и то же, притом краткое, выражение: Троица воистину есть Троица, братия. Но слово «троица», означает не счет вещей неравных (иначе что препятствует, слагая с тем или другим числом вещей, именовать десятком, сотней, десятком тысяч; так как вещей, числом изображаемых, много, даже более показанного теперь), но совокупность равных и равно-честных; причем наименование соединяет то, что соединено по естеству, и не дозволяет, чтобы с распадением числа разрушилось неразрушимое.

Так мы рассуждаем и так содержим; о взаимном же отношении и порядке в Троице оставляем ведать Ей единой и тем из очищенных, которым сама Троица благоволит открыть это или ныне, или впоследствии. А сами знаем, что одно и то же естество Божества, познаваемое в Безначальном, в рождении и исхождении (как бы в уме, который в нас, в слове и духе, поскольку чувственному уподобляется духовное, и малому высочайшее, тогда как мнимый образ не достигает вполне до истины). Знаем, что Оно Само с Собой согласно, всегда тождественно, бесколичественно, невременно, несозданно, неописуемо, никогда не было и не будет Само для Себя недостаточным. Знаем, что Оно есть жизни жизнь, светы и свет, блага и благо, славы и слава, Истинное и Истина и Дух истины, святые и неточные святыни, каждая (умопредставляемая особо, поскольку ум разделяет и нераздельное) есть Бог и все три (умопредставляемые вместе) также Бог, по тождеству движения и естества. Знаем, что Оно ничего не оставило выше Себя и не превзошло что-либо иное, ибо и не было ничего такого; знаем, что Оно ничего после Себя не оставит и не превзойдет, ибо и не будет ничего такого; знаем, что Оно не допускает ничего равночестного с Собой, потому что ни одно из существ сотворенных, служебных, соучаственных и ограниченных не достигает до Естества, владычественного, делающего других Своими причастниками, и беспредельного. Ибо одни из тварей совершенно удалены от Него; другие же приближены Нему несколько и будут приближаться, но не по своему естеству, а по причастию Его естества, и притом тогда только, когда доброе порабощение Троице сделается чем-то высшим рабства; если уже не составляет свободы и царства то самое, чтобы хорошо познавать владычество, впрочем, по низости ума, не смешивать того, что имеет между собой расстояние. А для кого так высоко рабство, для того чем будет владычество? Ежели и познание есть блаженство (Иоан. 17,3), то каково Познаваемое? К этому ведет нас великая тайна! К этому ведет вера в Отца и Сына и Святого Духа и в общее имя! К этому ведут возрождение, отречение от безбожия и исповедание Божества — этого общего имени! Почему, бесчестить или отделять Единого из трех — значит бесчестить исповедание, то есть и возрождение, и Божество, и обожествление, и надежду. Видите, что дарует нам Дух, исповедуемый Богом, и чего лишает — отвергаемый. Умалчиваю уже о страхе и о гневе, какой угрожает не чтущим, но бесчестящим Духа (Матф. 12,32). Так, насколько можно короче, излагаю вам наше любомудрие — догматически, а не состязательно, по способу рыбаков, а не Аристотеля, духовно, а не хитросплетенно, по уставам Церкви, а не торжища, для пользы, а не из тщеславия, чтобы вы, против нас исповедующие на народных собраниях и в этом одном единомышленные, познали, что мы едино мыслим, единым духом воодушевлены и дышим, и чтобы уже не собирали, как голодные, и не рассеивали наших маловажных (не знаю как назвать) падений или детских проступков. Ибо верх бедствия — находить себе защиту не в собственной крепости, но в чужом бессилии. Вот перед вашими взорами мы подаем друг другу руки! Вот дела Троицы, согласно нами славимой и поклоняемой! И вас да сделает это более снисходительными и православными! О, если бы мы были услышаны! О, если бы день этот сделался нарочитым, святым, днем не пререкания, но умирения, не памятником искушения, но торжеством победным, чтобы наше взаимное единомыслие и единомыслие почти целой Вселенной, где одни до сих пор пребывали здоровыми, другие почти возвратились к здоровью, а иные начинают возвращаться, — и для вас послужило виной спасения и воссоздания!

Святая, достопоклоняемая и долготерпеливая Троица! — Долготерпеливая, ибо столько времени являла Свое долготерпение к рассекающим Тебя! Троица, Которой служителем и нелицемерным проповедником и я сподобился быть уже с давнего времени! Троица, Которую все познают некогда — или просвещенные, или наказанные Тобой! Прими в число Своих поклонников и этих ныне оскорбляющих Тебя, да не утратим мы ни единого, даже из малых, хотя бы мне надлежало утратить нечто из благодати (не дерзаю сказать всего, что сказал Апостол (Римл. 9,3)!

Но для вас неприятно это, болезнует язык и мучится возражением? Рассмотрю со временем и возражение ваше, или рассмотрят его те, у кого больше, нежели у меня, времени. Узнаем и прекрасные ваши порождения или исчадия; когда, жестоким и твердым словом разбив и сокрушив *яйца змеиные* (Ис. 59, 5), покажем, что они пусты и надуты одним воздухом, и обнаружим, какой кроется *в них василиск* нечестия, — василиск, но уже мертвый, несовершенный, недвижущийся, умерший в муках рождения, и прежде, нежели родился, не существовавший (говорю вашими словами, чтобы сказать что-нибудь и вам угодное), насколько ненавистный в своем зачатии, настолько же жалкий и при извержении на свет. А это, насколько знаю, дарует нам Тот, Кто дал власть *наступать на аспида и василиска* (Пс. 90,13) и попирать змей и скорпионов (Лук. 10,19), Кто *сокрушит под ногами нашими вскоре* (Рим. 1 б, 20) и *сатану,* или по причине прежней светозарности, *как молнию с неба спадшего,* (Лук. 10,18), или потому что впоследствии он сделался изогбенным и превратился в пресмыкающегося, подобно змею бегающего, — сокрушить, чтобы и нам успокоиться несколько от бед, как ныне, так и впоследствии, когда совершенно отбежит от нас и болезнь, и печаль, и воздыхание о Христе Иисусе Господе нашем. Ему слава и держава во веки веков, аминь.

# СЛОВО 23. О мире, произнесенное в Константинополе по случаю распри, произошедшей в народе о некоторых несогласных между собой епископах

Любезный мир, вожделенный делом и именем, который подал я ныне людям, и получил взамен, не знаю, искренний ли от всех и достойный Духа глас, или народный только договор (к вящему нашему осуждению!), нарушаемый перед свидетелем Богом! Любезный мир — мой труд и моя похвала, о котором слышим, что он Божий, что Бог есть его Бог, и что сам Бог им именуется, как в следующих *словах: мир Божий* (Флп. 4,*7), Бог мира (2* Кор. 13,1 l); *Он* *есть мир наш.* (Ефес. 2,14), — и которого мы при всем этом не уважаем! Любезный мир — благо весьма восхваляемое и не многими хранимое, — где ты скрывался от нас столько времени и когда возвратишься к нам? Весьма сильно и более всякого другого люблю и лобызаю тебя, заботливо храню, когда ты с нами, и со многими слезами и рыданиями призываю, когда оставляешь нас. Не взывали так — ни патриарх Иаков к Иосифу, проданному братьями, а по мнению отца, похищенному зверем, — ни Давид, к другу своему Ионафану, падшему во брани, а впоследствии к сыну Авессалому. Один, истерзанный горестью в родительском сердце, вопиял*: зверь растерзал Иосифа* (Быт. 37, 33), зверь лютый и неукротимый, и положив перед собой окровавленную одежду сына, обнимал ее вместо сыновнего тела, в одном и том же находя и пищу, и облегчение скорби. Другой то проклинает горы, на которых происходила брань, взывая: «Горы Гельвуйския, да не падет на вас ни дождь, ни роса! как сокрушился лук Ионафанов и сила его!» — то оправдывает отцеубийцу, как бы ничем не оскорблял он отца, и примиряется с мертвым, может быть и потому сетуя о сыне, что он занес руку на отца. Таково родительское сердце! Кого на брани отражал как врага, того по смерти оплакивает как друга. Природа всего могущественнее; она препобеждает и вражду.

Достойно сожаления, что Киот задержан иноплеменниками, что Иерусалим сравнен с землей и попирается язычниками, что сыны Сиона, драгоценные и ценимые на вес золота, отведены в плен, до сих пор в рассеянии, и составляют народ чуждый в мире и скитающийся. Горестно и то, что видим и слышим ныне: отеческие грады ниспровергнуты, тысячи людей падают, земля обременена пролитой кровью и множеством падших, наг род иноязычный ходит по чужой области, как по своей. И не по малодушию защитников (никто не обвинит их в этом; они те же самые, которые покорили едва не целую Вселенную!), но за наши пороки, за овладевшее нами нечестивое учение о Троице, постигли нас все эти бедствия и верх бедствий. Кто будет оспаривать это, если умеет определить тяжесть несчастья по тем страданиям, какие мы сами претерпели или разделяли с другими? Но все это мало в сравнении с тем, что изгнан мир, похищено благолепие Церкви, унижено древнее достоинство, до того превращен порядок, что мы, сделавшиеся прежде из ненарода народом, из неязыка языком, подвергаемся теперь опасности — из самого великого народа и языка опять стать не народом и не языком, чем были вначале, когда не начальствовал над нами ты, когда мы не собрались еще под единое имя и единый чин.

Действительно, теперь оказывается, что удобнее переносить злополучие, нежели сохранять благополучие, потому что и мы, когда восставали на нас брани, были укрепляемы и теснее соединяемы гонениями; а когда совокупились воедино, тогда ослабели. И кто из благомыслящих не стал оплакивать настоящего времени? Но кто найдет слово, равняющееся бедствию? В мире живут разбойники, которых связало злодеяние. В мире живут замышляющие о насильственной власти, сообщники воровства, заговорщики мятежа, соучастники прелюбодеяния. В мире живут и певцы одного хора, и воины одного отряда, и пловцы одного корабля. Не стану говорить о наследствах, разделяемых поровну, о противоположных мерах правления, о преемстве общественных служений, о постепенности и законном порядке начальств. Даже редко видим, чтобы и эта пресловутая софистика или грамматика (не касаюсь философии, из ревности к которой молодые люди бесятся и сходят с ума) предавалась крамолам, чаще же соблюдает она мир. Но у нас нет согласия и союза; никогда не можем сойтись в одном, не видим даже и способа излечить такую болезнь; но как будто бы и учим и учимся злонравию, а не добродетели; много трудимся над тем, чтобы поджигать раздор; о единомыслии же мало заботимся, или и вовсе не заботимся.

Когда другие не соблюдают согласия; тогда их раздор не ведет ни к чему важному. А некоторым лучше быть в раздоре, нежели в единомыслии. Ибо кто из здравомыслящих похвалит союз, заключенный на худое дело? Но если бы у нас кто спросил: что мы чествуем и чему поклоняемся? Ответ готов: мы чтим любовь. Ибо, по изречению Святого Духа, Бог наш *есть любовь* (1 Иоан. 4,8), и наименование это благоугоднее Богу всякого другого имени. А что главное в Законе и Пророках? И на это не позволяет евангелист (Матф. 22,40) дать иного ответа, кроме прежнего. Почему же мы — чтители любви так ненавидим и сами ненавидимы? Почему мы — чтители мира немилосердно и непримиримо враждуем? Почему мы — основанные на камне —зыблемся, утвержденные на краеугольном камне — распадаемся, призванные во свете — омрачаемся? Почему мы — служители Слова довели себя до такого молчания или бессловесия, или оцепенения, или... не знаю, как назвать еще.

И в пище, и во сне, и в позорных делах есть, как говорят, мера сытости; все, не одно скорбное, но и самое приятное возбуждает наконец отвращение, потому что все из одного переходит и превращается в другое. Но у нас нет конца взаимным поражениям друг друга, не только между разномыслящими и несогласными в учении о Вере (это было бы менее прискорбно, извинялось бы ревностью, одним из похвальных качеств, пока она в пределах), но и между единомышленными, у которых в одном и том же одни и те же противники. Это всего бедственнее и жалостнее. И что этому причиной? Может быть, любоначалие или корыстолюбие, или зависть, или ненависть, или высокомерие, или другая какая страсть, которых не видим и в самих безбожниках.

Весьма забавна переменчивость в мнениях. Когда нас хотят поймать, тогда мы благочестивы и православны, лживо прибегаем к истине, как будто стоим за веру, и в том одном (по сравнению с худшим) поступаем похвально (хотя это само по себе и гнусно), что, стыдясь порока, переходим на сторону того, что почтеннее, а именно — благочестия. Тебе (кто бы ты ни был, дошедший до такого состояния) можно сказать: безумный и непостоянный человек, тварь лукавого — изобретателя зла, или (справедливее сказать) несмышленнейший из людей! Вчера был он для тебя благочестив, как же ныне стал нечестив, хотя ничего не прибавил и не убавил ни словом, ни делом, но в том же стоит, как и тем же дышит воздухом, теми же глазами и на то же смотрит солнце; а если угодно тебе спросить его о числах и мерах; то и на это будет отвечать не новое, но то же, что и прежде? Однако же ныне у тебя блудник, кто вчера был Иосифом. Ибо и до этого доходит любовь к спорам, подобная пламени, пробегающему по соломе и обнимающему целую окружность. Ныне Иуда, или Каиафа, кто вчера Илия, или Иоанн, или другой кто из подвизающихся в рядах Христовых, обвязанный тем же поясом, облеченный в ту же темную или черную ризу, какой (и по моему уставу и рассуждению) требует строгость жизни. Вчера бледность лица — прекрасный цвет для мужей высоких, или скромность и спокойствие голоса, или степенность и тихость походки именовали мы любомудрием, а ныне называем это тщеславием. Ту же власть над духами и болезнями приписываем то Иисусу, то Вельзевулу; и в этом случае не правдивыми пользуемся весами, но руководствуемся охотой спорить и раздражительностью. Как одна и та же земля, для здорового и нестраждущего никаким недугом, неподвижна, а у кого кружение в глазах, или кто сам вертится, для того движется, и как состояние видящего бывает переносимо на видимые предметы, или, если угодно, как одно и то же расстояние столпов представляется большим тому, кто смотрит вблизи, и меньшим тому, кто издали, потому что воздух скрадывает расстояние, и зрение сближает предметы большого объема, так и мы легко обманываемся по причине вражды и составляем неодинаковые понятия об одних и тех же лицах, когда они нам друзья, и когда нет. У нас время легко производит многих во святые, а многих, против всякой вероятности, — в безбожники. Или вернее сказать, оно всех делает жалкими, не только потому, что на нас смотрят, как на худой образец, тогда как порок подручен всякому, хотя бы и никто не привлекал, но и потому, что мы с готовностью прощаем всем и все, только бы сойтись в одном.

Прежде не безопасным почиталось сказать одно лишнее слово, а ныне злословим людей самых благочестивых. Прежде не позволял ось *читать закон извне и призывать исповедание* (Ам. 4,5), то есть, как я понимаю, народное одобрение, а ныне и о неизреченных тайнах допускают судить людей оскверненных, повергая *святыню псам* и бросая *жемчуг перед свиньями* (Матф. 7, б). И этого недостаточно; мы насыщаем слух свой взаимными оскорблениями друг друга. Мы не можем рассудить даже того, что не безопасно доверять оружие врагу, и слово против христианина — ненавидящим христиан. Ибо в чем мы укоряли ныне, в том завтра будут укорять нас. Враг ласково выслушивает слова твои, не потому что хвалит, но потому что собирает со злым намерением, чтобы при случае изблевать яд свой на оказавшего ему доверие.

Для чего же терпим это, братья, и долго ли будем терпеть? Когда отрезвимся от упоения, снимем с глаз чешую, воззрим на свет истины? Какая это тьма, какое сражение среди ночного мрака, какая буря, не позволяющая различить в лице друзей и противников? Для чего мы стали *посмешищем у соседей наших, посрамлением и поруганием у окружающих нас* (Пс. 78,4)? Что за ревнование о зле? Отчего такое нескончаемое изнурение самих себя? Или лучше сказать, мы не изнуряем себя но, что бывает с беснующимися, в самом недуге черпаем для себя силы и радуемся своему истощению. Нигде нет у нас ни слова, ни друга, ни соратника, ни врача умеющего исцелить или отсечь страждущий член, ни ангела заступника, ни Бога; и сверх всего сами себе заграждаем мы Божие человеколюбие. Для *чего, Господи стоишь вдали* (Пс. 9,22)? И *будешь скрываться непрестанно* (Пс. 88,47)? И *когда посещение сотворишь* нам (Притч. 29,13)? До чего дойдет это и где остановится?

Боюсь, не есть ли настоящее уже дым ожидаемого огня, не вскоре ли после этого настанет антихрист и воспользуется нашими падениями и немощами, чтобы утвердить свое владычество. Ибо, конечно, нападет он не на здоровых и не на объединенных любовью; а надобно, чтобы царство само в себе разделилось, чтобы крепкий в нас рассудок подвергся искушению и был связан, чтобы сосуды были расхищены, и мы потерпели то самое, что (как видим) терпит теперь враг от Христа (Матф. 12,26—29).

Об этом *я плачу,* говорит Иеремия в Плаче своем (1,15); ищу *глазам моим* источники *слез* (Иер. 9,1), которые бы удовлетворили моей горести; призываю *плакальщиц* сотворить и разделить со мной плач (Иер. 9 17). И *чрево мое болит,* смущаются чувства (Иер. 4,19) не знаю, как и какими словами облегчить скорбь свою! Отчего и древнее предается молчанию, и новое — осмеянию. Ибо врагам обращается в забаву и то, что извлекает у меня слезы. Через это не мало потеряли у нас церкви, а приобрели зрелища, приобрели в таком городе, который и божественное, наряду с прочим, старается обращать в забаву, который скорее осмеет достойное похвалы, нежели оставит без осмеяния смешное. Потому удивительно будет, если он не осмеет и меня, который говорит это ныне, меня — пришлого проповедника, который учит, что не над всем должно смеяться, но что есть предметы, требующие внимательного рассуждения. И что говорю: осмеет? Подивишься, если не подвергнет меня даже наказанию за то, что хочу сделать добро.

Таково наше положение; и меня печалит не то, что церкви у нас отняты (человек с ограниченным умом поскорбел бы, может быть, и об этом); не то, что злые языки (они делают свое дело) говорят худо, потому что не научились говорить доброго. Не опасно то, чтобы Бога можно было описать местом или оседлать продажным, и чтобы Он стал достоянием одних богатых. Притом те, которые говорят обо мне хорошо или худо, не переменят меня (подобно тому, как примешивающие, или миро к грязи, или грязь к миру, через такое смешение сливают качества грязи и мира) так, чтобы я стал огорчаться хулами как внутренне изменившийся. Иначе, дорого заплатил бы я хвалителям, если бы своими похвалами сделали они меня лучшим. Не так выходит на деле; бранят меня, или удивляются мне, в обоих случаях остаюсь таким, каков *был. Пустой же человек мудрствует,* говорит Иов (Иов. 11,12). Как пена прибивается к камню, как ветры к сосне, или к другому густому и высокому дереву, так и ко мне — людские речи, и я так почти любомудрствую сам в себе. Если обвинитель лжив, то обвинение падает не столько, на меня, сколько на его слова, хотя и хулит он мое имя. А если он справедлив, то обвиню лучше себя, не говорящего обо мне. Ибо я сам причина того, что он говорит; а не говорящий — причина того, что я таков. Поэтому речи его, как ничего не значащие, оставив без внимания, обращусь к себе и из злоречия его извлеку еще ту одну выгоду, что стану жить осторожнее. Но злоречие имеет и третью весьма важную и величественную пользу, именно ту, что нас хулят вместе с Богом. Ибо одни и те же и отрицают Божество, и оскорбляют Богослова.

Итак, не это страшно, хотя и почитают многие страшным, но то, что, сколько бы кто ни был тверд в душе и искренен в благочестии, не хотят даже и верить, что он верен, нелицемерно добродетелен и свободен от притворства. Напротив, один у нас явно худ; в другом правдивость — одна личина и прикраса, обманывающая наружностью. Хотя не все кажутся черными, потому что есть черные, не все неблагородными, неблагообразными, немужественными, невоздержанными, потому что много таких; а напротив, осуждаем ли, или хвалим кого, произносим о каждом особый, а не общий приговор: однако же обвинение в злонравии удобно распространяем на всех и делаем общим обвинением целого, не только потому что многие, но и потому что некоторые злонравны.

Но гораздо страшнее этого то, что обвинение не останавливается на нас одних, но простирается даже на высокое и досточтимое наше таинство. Ибо с нашими судьями бывает то же, что почти и со всеми охотниками судить о чужих делах; одни из них довольно снисходительны и человеколюбивы, а другие очень жестоки и немилосердны. И первые нас одних укоряют в пороках, оставляя без укоризны наше учение. Другие же, особенно когда встречают много худых людей между удостоенными должностей, обвиняют сам закон, будто бы он учит злонравию.

Итак, что же, братия, долго ли это будет? Ужели никогда не уцеломудримся, не отрезвимся, не устыдимся? Не говоря о другом, побережемся, по крайней мере, от вражеских языков, которые и ложью удобно вредят. Ужели не отстанем от сильной привычки спорить? До сих пор не поймем, какие предметы и в какой мере доступны нашему исследованию, и какие выше сил наших? Ужели не различим, какие исследования возможны в настоящее время, при дольней слитности вещей, омрачающей мысль, и какие должно предоставить будущему веку, тамошней свободе, чтобы удовольствоваться пока некоторыми, а для других предочиститься, поскольку надеемся со временем достигнуть совершенства и приобрести желаемое? Ужели не отделим сами для себя того, о чем совсем не должно полагать вопросов, о чем надобно спрашивать умеренно, в чем, как не вредном для нашего учения, справедливо ли оно, или нет, можно уступать охотникам до споров, что должно предоставлять одной вере, а что разуму, и за что надобно сражаться со всею ревностью, впрочем словами, а не оружием! Ибо поднять на кого-нибудь и руку — совершенно вне обычаев нашего двора, и мы отвергаем это, предоставляя нашим ненавистникам.

Назначим себе не тот один предел благочестия, чтобы поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, единому в Трех Божеству и единой Силе, — поклоняться, не предпочитая Одного, и недопочитая Другого (выражусь так, чтобы и мне подражать сколько-нибудь мудрствующим об этом); ибо одно невозможно, а другое нечестиво, — поклоняться, не рассекая единого величия новостью имен, ибо ничто не бывает больше или меньше себя самого, но, утвердившись на таком пределе, будем единомышленны и во всем прочем, как чтители единой Троицы, держащиеся единого почти догмата и единого тела; отсечем же и уничтожим, как общий недуг, лишние и бесполезные вопросы, пустившие ныне столько отпрысков и ветвей. Ибо, не говоря о чем-либо отдаленном, разве не удовлетворили еще меня лукавый дух Монтана против Духа Святого, дерзость Навата, или нечистая чистота, завлекающая многих благолепием выражений; доныне продолжающееся неистовство фригиян, и посвящающих и посвящаемых едва ли не с древними обрядами; безумие галатов, обилующих многими именами нечестия; Савеллиево сокращение; Ариево разделение, и произошедшее из него подразделение нынешних хитрословов, в той же мере имеющих преимущество, в какой говорливый язык лучше неповоротливого? Даже и мы имеем между собой подобные почти разности, — мы, которые мыслим здраво о главном, и стоим за одно и то же против одних и тех же. Я разумею недавно начавшуюся у нас братскую распрю, которой бесчестится Бог и человек, — Бог, будто бы вовсе для нас не родившийся и не пригвоздившийся ко кресту, а следовательно, не погребенный и не воскресший, как вообразилось некоторым худым христолюбцам, но чествуемый в том единственно, в чем честь обращается в бесчестие, и через это рассекаемый на двух сынов; а также — и человек, будто бы не совершенно восприятый и почтенный, но отвергнутый и устраненный важнейшей его частью, тогда как в естестве человеческом всего важнее образ Божий и сила ума. Но человечеству, поскольку соединилось с ним Божество, надлежало разделиться; людям, по всему прочему умным, надобно было впасть в ошибку относительно ума и, к умалению Божией благодати и нашего спасения, утверждать, что я не весь спасен, хотя весь пал и осужден за ослушание первозданного и по ухищрению противника!

И не этим только нарушается наше единомыслие. Напротив, мы, спасенные Богом, ведем брань за людей, и столько в нас крамольного духа, что расточаем его в угождение любочестию других, заводим домашнюю вражду за чужие престолы, в одном деле допускаем две весьма важные погрешности — в честолюбцах разжигаем страсть к любоначалию, а сами находим в этом опору собственной своей страсти, подобно людям, которые, падая со стремнины, хватаются за ближайший камень или сколько-нибудь твердый куст. Между тем надлежало нам своим устранением от дела и их обессиливать, в каком случае оказали бы им больше благодеяния, нежели ныне, сражаясь за них. Теперь же весьма жалки и заступники, и пользующиеся их заступничеством; и мне кажется, что опять уже делится на две враждебные части мир, который едва только примирен, и то с трудом, не вдруг, не без пролития многой крови. А кто остается в мире и не склоняется ни на ту, ни на другую сторону, тот терпит зло от обеих сторон: или презирают его, или нападают на него. И как к числу последних принадлежу и я, который восстает против этого, для чего принял и эту кафедру — предмет состязания и зависти, то неудивительно, что и меня, после всех моих трудов и усилий, обе стороны желали бы вытеснить и устранить отсюда, чтобы, когда уже не будет между ними препятствия и преграды, ближе сойтись им и со всей яростью напасть друг на друга.

Все это прекратить и остановить преимущественно может Бог, все связующий; но могут также и люди, ревнующие о добре и знающие цену единомыслия, которое ведет начало от Троицы (так как Ей и по естеству всего свойственнее единство и внутренний мир), которое усвоено ангельскими и божественными Силами, пребывающими в мире с Богом и между собой, которое простирается на всю тварь (так как ей служит украшением безмятежие), которое удобно поселяется и в нас, как по душе, когда в ней добродетели одна другую сопровождают и одна с другой сообщаются, так и по телу, когда в нем и члены, и стихии имеют взаимную стройность, от чего в первом случае происходит то, что есть и именуется красота, а во втором — здоровье.

Но похвалю и слово Соломона, который узаконивает времякак *для всякой вещи,* такдля *войны и мира* (Еккл. 3,1.8). Добавлю только следующее. Хотя должно наблюдать время войны и мира, а иногда, по закону и слову Соломона, хорошо вести и войну, однако же лучше, пока только можно, склоняться к миру, потому что это и выше, и богоугоднее. И ни с чем несообразно — предполагать, будто бы в частном деле всего лучше единомыслие, а в деле общественном оно не самое полезнейшее; будто бы совершеннейшее управление — в том доме и городе, в котором как можно меньше внутренних раздоров, а если и случаются они, то всего скорее восстанавливается мир и исцеляется недуг, но для общего состава Церкви и лучше, и приличнее нечто другое; будто бы каждому человеку надлежит стараться — быть в мире с самим собой, потому что мир и владычество над страстями для каждого вожделенны, но не так должно вести себя с другими, а напротив, низложение ближнего надобно вменять себе в славу. И хотя Бог повелевает прощать согрешивших против нас не только семь раз, но и в несколько крат более (Матф. 18, 22), чтобы прощением других испросить и себе прощение, однако же мы можем делать зло и тем, которые нас не обижали, даже делать охотнее, нежели как принимаем от других благодеяния.

Хотя знаем, какое блаженство уготовано *миротворцам,* которые одни в сонме спасаемых нарицаются сы*нами Божиими* (Матф. 5,9), однако же можем думать, что сами, даже враждуя, делаем угодное Богу, за нас пострадавшему, чтобы примирить нас с Собой и прекратить внутреннюю в нас борьбу.

Нет, друзья и братья, не будем так думать. Почтим дар Примирителя, то есть мир, — дар, который, отходя отсюда, оставил Он нам (Иоан. 14,17), как некий прощальный залог. Будем знать одну только брань — брань с неприятельской силой. *Скажем: братья, ненавидящим нас* (Ис. *66,* 5), только бы приняли это. Уступим в иной малости, чтобы получить взамен важнейшее, то есть единомыслие. Предоставим над собой победу, чтобы и нам победить. Посмотрите на уставы состязаний и на подвиги борцов: у них часто лежащий внизу одерживает победу над теми, которые были вверху. И мы будем подражать им, а не жадным любителям пиршеств или купцам, из которых одни без меры обременяют себя предложенными снедями, а другие нагружают корабль, и надрывают себе чрево, или утопают прежде, нежели насладятся своею ненасытностью, терпя великие потери за малое приобретение.

Итак, вопию об этом и свидетельствую, и не перестану исполнять слово Писания*: Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь* (Ис. 6 2,1). Исчезает душа моя, когда вижу погибель тех, которые не *умерщвлены мечом, не погублены голодом* (Плач. 4,9), но уязвлены честолюбием и любоначалием, так что падение их возбуждает не столько жалость, сколько ненависть. Если вы примете слова мои, то для вас и для меня будет лучше. Но если осмеете и отвергнете их, дав страсти победить рассудок; то мой долг достаточно будет исполнен и перед Богом и перед людьми, потому что, как думаю, никто из самых миролюбивых не потребует большого, вы же сами увидите последствия, а я не присовокуплю ничего жестокого, ибо щадить детей требует закон отеческой любви. Но да будет милосерд и мирен великий Судия, и ныне, и в день воздаяния, о самом Христе Господе нашем, Которому слава и держава вовеки, аминь!

# СЛОВО 24. В похвалу святому священномученику Киприану сказанное на другой день его памяти по возвращении Григория из села

Едва не забыт нами Киприан, и это (какая потеря!) допустили вы, которые больше всех уважают Святого, чтут его ежегодными чествованиями и празднествами. А Киприана должно почитать даже и забывающим иное, так как особенной памяти требуют мужи совершеннейшие, о которых воспоминание вместе благочестиво и полезно. Возвратим же долг с лихвой, если окажемся довольно благоразумными, и не вовсе скудными и нищими. Впрочем, как бы ни велика была наша нищета, я уверен, что этот во всем великодушный и любомудрый муж простит нам и задержку, и бедность. Возблагодарим только, что он не остался у нас в совершенном забвении, ибо это стоит благодарения. И благодарением должно начать, чтобы мое возвращение послужило вам во благое и по благим мерам Бога, Который все распределяет и располагает весом и мерой (Прем. Сол. 11,21), сделалось возвращением от безмолвия к слову, от любительницы мучеников — к мученикам, от телесного отдыха — к духовному пиру.

Я желал быть с вами, дети; и уверен, что и вы в равной мере желали моего присутствия. Видите отеческое мое добродушие; говорю о своем, свидетельствую и о вашем желании. Разлучившись друг с другом на столько времени, чтобы дознать взаимную любовь и, как живописцы поверяют картины, изведать ее издали, мы опять вместе. Даже кратковременное обращение с людьми, которые расположены к любви и подражают Божию человеколюбию, доставляет много пищи воспоминанию. Ужели же мы, ученики Христа, Который для нас истощил Себя до образа раба и сделавшихся чуждыми небесного собрал к Себе, не удержим в любви и не обнимем друг друга, не соблюдем *единство духа в союзе мира* (Ефес. 4, *У),* которое составляет тайну, или главизну Закона и Пророков? Конечно, и то уже для нас одно из первых благодеяний, что мы так скоро пришли в объятия друг к другу; потому что ревность не терпит отсрочки, и кто мучится желанием свидания, тому один день кажется целой жизнью. Но гораздо важнее для нас другое благодеяние, что мы пришли не после праздника, не остались без тайноводства мучеников и доставляемого тем услаждения и упокоения.

А я признаюсь, что на все иное медлительнее всякого, и свергнул с себя все пожелания, как скоро стал служить Христу. Меня не пленяет ничто приятное и вожделенное для других, — ни дольнее и непостоянное богатство, ни сластолюбие и пресыщение — мать вожделения, ни мягкая и пышная одежда, ни блеск и привлекательность драгоценных камней, ни очарование слуха, ни изнеженность обоняния, ни приводящие в неистовство рукоплескания народа и зрелищ, которые давно уступил я охотникам до них; не пленяет и все, что ведет начало от первого вкушения, нас погубившего. Напротив, виню в великом скудоумии тех, которые позволяют таким вещам одерживать над ними верх, губят благородство своей души привязанностью к мелочному и прилепляются к скоропреходящему, как к чему-то постоянному. Я люблю Христа, не знаю меры в этой любви и хвалюсь ею, увеселяюсь славой мучеников, восхищаюсь кровью подвижников, подвиги и победы других для меня венцы: столько предвосхищаю себе славы, так усваиваю себе заслуги!

Конечно, всех мучеников должно чествовать, для всех надобно с готовностью отверзать уста и слух и мысль, чтобы охотно что-нибудь сказать и услышать о них, а все прочее почитать ниже их подвига. Ибо хотя многое служит для нас руководством к лучшей жизни и многое назидает в добродетели — и разум, и Закон, и Пророки, и Апостолы, и сами страдания Христа, этого первого Мученика, Который восшел на крест и меня возвел с Собой, чтоб пригвоздить мой грех, восторжествовать над змием, освятить древо, победить сластолюбие, спасти Адама и восстановить падший образ; однако же, при столь многих и столь превосходных наставниках, не менее поучительны для нас мученики — эти словесные всесожжения, совершенные жертвы, приятные приношения, это проповедование истины, обличение лжи, исполнение духовно-разумеваемого Закона, разрушение заблуждения, гонение порока, потопление греха, очищение мира. Но преимущественно перед прочими мучениками (у мучеников, конечно, нет ревности к мученикам) и именем, и делом досточтим для меня ты, Киприан! Особенно поражаюсь твоей добродетелью, восхищаюсь воспоминанием о тебе, делаюсь от удовольствия как бы вдохновенным, некоторым образом соучаствую в твоем мученичестве, приобщаюсь к твоему подвигу и весь переношусь к тебе, привлекаемый, может быть, сродством по дару слова, которым настолько превосходишь ты других, насколько словесные существа превосходят естество бессловесных (а между соединенными, чем бы то ни было, любовь, не знаю почему, поселяется также, как и между связанными кровным родством). Но может быть, привлекаюсь и твоей внезапной и необыкновенной переменой, которая поразительнее всякого слова и примера. Ибо приятно солнце после облака, которым оно закрыто было прежде; приятна весна после зимней угрюмости; приятны улыбающаяся тишина, гладкое море, играющее у берегов, после мятежа ветров и обуревания волн.

Этот Киприан (пусть знающие его с удовольствием припомнят, а незнающие услышат одно из прекраснейших наших сказаний, служащее к общей похвале христиан!) — этот Киприан, —славное имя некогда для карфагенян, а ныне для целой Вселенной, — был знатен по богатству, знаменит по могуществу, известен по роду (если только иметь место и председательствовать в Сенате служит убедительнейшим доказательством благородства). Это был цвет юношества, образцовое произведение природы, верх учености по сведениям в философии и по познаниям в других науках, притом по какой угодно части, так что в нем разнообразие сведений было удивительнее высоты каждого познания, и опытность в каждом сведении удивительнее общей любознательности; или (скажу яснее) одних превосходил он разнообразием, других — высотой познания, некоторых — тем и другим, а всех — всем. Об учености его свидетельствуют многочисленные и превосходные сочинения, какие написал он в нашу пользу, после того как по человеколюбию Бога, Который все творит и претворяет в лучшее, переменил он образ учения и неразумие подчинил Слову.

А поэтому не знаю, как мне распорядиться словом и найти способ — и не продлить его чрезмерно, совершенно вне пределов времени, если буду припоминать о Киприане все, и не сделать большого ущерба присутствующим здесь, если об ином будет умолчано. Потому, чтобы соблюсти середину и сберечь время и удовлетворить желание слушателей, надобно, по моему мнению, исполнить следующее: все прочее предоставить знающим, чтобы они передали это незнающим, ежели таковые найдутся, и чтобы таким образом те и другие, и поучающие и поучаемые, получили равную пользу (потому что одно воспоминание о Киприане освящает, и слово о нем всего сильнее побуждает к добродетели); самому же мне для краткости припомнить одно или два таких события из его жизни, о которых невозможно и умолчать, хотя бы захотел. Но упомяну и о прежней жизни Киприана, о том, каким путем достиг он спасения, как был призван и как совершилась в нем перемена к лучшему. Весьма не благородно и низко думать, что оскорбительно будет для подвижника напоминать о непохвальных делах его. В таком случае и великий Павел не заслуживал бы нашей похвалы, и мытарь Матвей принадлежал бы к людям самым порочным, а равно и Киприан. Но Павел для того упоминает о прежних своих гонениях и о том, как изменился предмет его ревности, чтобы сравнением того и другого прославить больше Благодетеля. Матвей, перечисляя учеников, придает себе наименование мытаря, как некоторое титло. И Киприан в длинном слове выставляет на позор прежнюю свою порочную жизнь, чтобы и это, то есть исповедь свою, принести в дар Богу, и многим из обращающихся от порочной жизни указать путь благой надежды.

Итак, смотрите, какие были его пороки, как многочисленны и велики. Служителем демонов был этот впоследствии ученик Христов, жесточайшим гонителем — этот великий поборник истины. И словом, и делом, как сильный в том и другом, возмущал путь наш, оказавшийся после еще сильнейшим в слове и деле для пользы христиан. А каким злом было присоединенное к этому чародейство, которым особенно славился Киприан! И насколько еще ужаснее та ненасытимость плоти, которая и мудрых в ином может доводить до бешенства, которая, увлекая рассудок, как молодого необузданного коня, заставляет умудряться на худое! Но слово мое касается самого главного. И никто да не предастся сластолюбию, видя прежнюю жизнь Киприана, а всякий да уцеломудрится последними его делами!

Была девица, знатного рода и благонравная (да внимают и да радуются этому девы, или, лучше сказать, и живущие в супружестве, если они целомудренны и любят целомудрие; потому что сказание мое составит украшение для тех и других!), девица весьма прекрасной наружности; но к моему о ней слову да присовокупит и свою песнь божественный Давид, который говорит: *вся слава дщери Царя внутри* (Пс. 44,14). Это была истинная Христова невеста, сокровенная красота, одушевленное изваяние, ничем не оскверненная святыня, никому не доступное святилище, *запретный сад, запечатанный источник* (Песн. 4,12 —да воспоет нечто и Соломон!) — источник, соблюдаемый единому Христу. Этой девой, при всей ее осторожности и скромности, не знаю где и как, пленился великий Киприан; ибо похотливое око — это самое наглое и ненасытное из чувств, касается даже и неприкосновенного. Киприан не только пленился, но покушался и обольстить. Какое скудоумие, если такую деву надеялся лишить целомудрия! А тем более, какое бесстыдство и в отваживающемся на такой поступок, и в убеждающем отважиться! Но он вначале вползал в рай к первозданному, он предстоит среди ангелов, требуя себе Иова, он напоследок дерзает приступить к Самому Владыке, от Которого должен быть поражен и убит, даже искушает Того, Который *не искушается* (Иак. 1,13), как будто и Его надеялся перебороть, потому что явившееся Божество почел вторым Адамом и не знал, что, приступая к человечеству, пытается искушать Бога. Что же странного, если он и через Киприана искушает святую душу и чистую плоть? Таков был искуситель, и в помощники употребляется не одна из старых женщин, способных на подобные дела, но один из плотолюбивых и сластолюбивых бесов; потому что богоотступные и завистливые силы, стараясь иметь многих сообщников своего падения, весьма скоры на услуги подобного рода, и наградой за содействие в соблазне служат им жертвы и возлияния, также общение посредством крови и тука, ибо за такие одолжения таковы должны быть и награды.

Но что делает и что противопоставляет строителю зла девица, когда ощутила опасность и проникла в злой умысел? Чистые и богоподобные души весьма скоро распознают покушающегося против них, как он ни хитер, ни разнообразен в своих нападениях. Девица, отвергнув все другие способы, прибегает к Богу, и защитником от ненавистной страсти избирает Жениха своего, Который и Сусанну избавил от жестоких старейшин, и Феклу спас от немилосердого искателя ее любви и еще более немилосердого отца. Кто же этот жених? — Христос, Который и духам запрещает (Матф. 17, 18) и поддерживает утопающих (Матф. 14, 31), и ходит по морю (Матф. 14, 26), и легион духов предает глубине (Лук. 8, 32), похищает из рва праведника, отданного на съедение львам и воздеянием рук преодолевающего зверей (Дан. 14), спасает беглеца Пророка, поглощенного китом и во чреве его сохранившего веру (Иоан. 2), сохраняет в пламени ассирийских отроков, остудив горящие дрова через ангела, и к трем юношам присовокупил четвертого (Дан. 3). Все это и еще многое припоминая в молитвах, и моля Деву Марию помочь бедствующей деве, присоединяет она и другое средство — пост и сон на голой земле, чтобы увял а красота, привлекшая на нее козни, а через это отнята была пища у пламени, истощилось служащее к возжжению страстей, и вместе, чтобы Бог умилосердился над ее смирением. Ибо никаким служением не благоугождается Бог, как злостраданием, и за слезы воздает Он милостью.

Знаю, что нетерпеливо ожидаете продолжения сказания; ибо беспокоитесь о деве, а не меньше и о воспламенившемся к ней любовью, опасаясь, чтобы страсть для обоих не имела худых последствий. Но смело надейтесь! Сама любовь пролагает путь вере; пламенеющий любовью, уневещивая себе деву, сам уневещивается Христу; огонь страсти угасает, возгорается же огонь истины. Но отчего и как? — Здесь начинается самая приятная часть моего повествования.

Дева побеждает, а демон побежден. Искуситель приходит к одержимому страстью, извещает о своем поражении, подвергается за это осмеянию, огорчен презрением и мстит презрителю. И в чем состоит мщение? Демон, осмеянный недавним своим служителем, приступает к нему самому, чтобы одно зло было изгнано другим, и новое беснование послужило исцелением прежнего. Отражен он девой, как стенобитное орудие твердой и непоколебимой стеной, прогнан словом и молитвой; но борется еще с пославшим его к деве, обратившись (чудное дело!) на того, кем был послан, и давит его, как второго Саула (1 Цар. 16,14). Что же делает этот безумный во время страсти, и благоразумный, когда мучит его бес? Ищет освобождения от зла и находит; ибо нужда делает изобретательным. Откуда же освобождение? Как Саул к гуслям и бряцаниям Давида, так он прибегает к Богу девы, приступает к ее Пастырю, и как демонские удары очищают его от страсти, так вера во Христа — от злого духа, и он воспламеняется новой любовью. Пастырь долго не верил ему и отсылал его от себя; потому что казалось невероятным и странным, чтобы Киприан стал наконец принадлежать к христианам, даже хотя бы и все сделались христианами. Но Киприан обратился, и доказательство обращения его очевидно. Он приносит в собрание чародейские книги, исповедует свое неразумие, предает позору бесполезность этого нечистого сокровища, возжигает ими светлый пламень, и огнем истребляет долговременную прелесть, которая не могла содействовать плотскому пламени. Так отвергается он демонов и делается присным Богу!

О чудо благодати, по которой через нечистую любовь и лукавого духа Киприан находит Бога, делается священной овцой священного стада! И как сказывал мне некто, после многих молитв, чтоб в очищение прежней гордыни любомудренно научиться смирению, сперва был он придверником храма; а потом стал Пастырем, даже лучшим и опытнейшим из Пастырей. Он первенствует не только в церкви Карфагенской и в Африке, которая с этого времени и через него доныне знаменита, но на всем Западе, а почти и на самом Востоке, в странах южных и северных, куда только проникла слава о нем.

Так Киприан стал нашим. И это совершил Бог знамений и чудес, сотворил Тот, Кто Иосифа, проданного из-за ненависти братьев, посредством жены показал целомудренным, прославил в раздавании хлеба, умудрил в сновидениях, чтоб в чужой стране ему поверили, чтоб почтил его фараон, чтоб стал он отцом многих тысяч людей, за которых Египет терпит казни, для которого рассекается море, поливается дождем хлеб, останавливается солнце, которому дается в наследие земля обетованная! Ибо премудрость еще заранее полагает основания великих дел и противоположным достигает противоположного, чтоб тем более дивились ей.

Для полноты похвального слова довольно было бы и этих Киприановых доблестей, но те, о которых остается еще мне говорить, так многочисленны и велики, что, если бы сказанное до сих пор и не служило похвалой, то одного последующего достаточно было бы для Киприана, чтобы стать выше всех. Впрочем, не говоря ни о его презрении к деньгам, ни о попрании им гордыни, ни об обуздании плоти и чистоте в противоположность прежней необузданности, ни о величавости и вместе снисходительности в обращении, причем он равно был далек и от низости, и от высокомерия, ни о сне на голой земле и о бдениях, чему поздно стал он учиться и в чем много превзошел привыкших к тому раньше его, ни о ревности в назидании словом, так что он преподал всю нравственность, очистил невежественные понятия о догматах, украсил жизни мужей, и догмат о Божестве начальной и царственной Троицы, Которое иные рассекают, а иные сливают, возвел в первоначальную чистоту, пребывая в пределах благочестного единства и счисления, — умолчав обо всем этом, по причине обширности предмета, заключу слово свое кончиной жизни Киприана.

Вознеистовствовал против нас Декий, он замышлял всякие виды мучений, и разные жестокости частью уже совершил, а частью намеревался совершить. С одинаковым усилием старался он и преодолеть христиан и превзойти прежних гонителей; лучше сказать, ему хотелось преодолеть и покорить или всех христиан, или одного Киприана. Ибо чем известнее было ему отличное благочестие и слава этого мужа, тем более славной и блистательной казалась победа, если одержит над ним верх. И в одном случае он покорил бы только своей воле христиан, а в другом восторжествовал бы над самим любомудрием и даром слова. Почему, наилучшей почитал хитростью — сперва сделать безмолвным язык, потом безгласными и молчащими повлечь за собой тех, которые им держались. Несправедливо и нечестиво было такое рассуждение, однако же и не вовсе неосновательно, если брать в рассмотрение его желание и предприятие. Это показало и само дело. Ибо когда доблестный Киприан, как в море скала удары волн, твердо и мужественно отразил все искушения и покушения, и осужден, наконец, Декием на изгнание; тогда он не ограничился самим собой, не обрадовался своему спасению от смерти и не стал рассуждать, что лучше сохранить в безопасности жизнь, хотя бы понести бесчестие; или лучше — подвергнуть опасности душу, но соблюсти безмолвие и равнодушно смотреть, как другие бедствуют от обстоятельств времени, не имея наставника, который бы поощрил на подвиги; потому что слово не мало может придать мужества вступающим на поприще добродетели. Поэтому Киприан, отсутствуя телом, присутствовал с подвижниками духом, разделял их подвиги; и когда не может он содействовать живым словом — помогает писаниями. А каким образом? Издали предводительствует Христовым воинством, пишет увещания, восхваляет благочестие, и своими посланиями один производит едва не больше мучеников, чем другие лично, находясь вместе с подвизающимися. Бедствующих за доброе дело убеждает он — ни отечества, ни рода, ни богатства, ни владычества, ни всего земного не предпочитать истине и наградам, какие уготованы добродетели на небеси. Внушает, что самая выгодная купля — каплями крови приобрести небесное царство и за временные блага получить вечность славы. Ибо для душ возвышенных одно отечество — Духовный Иерусалим, а не здешние города, которые заключены в тесные пределы и часто меняют своих обитателей; одна знаменитость рода — хранить в себе Божий образ и уподобляться Первообразу, насколько это возможно узникам плоти и способным принять в себя только некоторые струи добра; одно владычество — одерживать верх над лукавым, не отдавать в плен души и не уступать победы в подвигах за благочестие, когда порок борется с добродетелью, мир — с миром, мир разрушающийся — с миром постоянным, подвигоположник неумолимый — с подвижниками мужественными, и Велиар вооружается на Христа. А поэтому убеждал он не бояться мечей, огонь считать прохладой, самых лютых зверей представлять себе кроткими, голод признавать высшим наслаждением, отвращать взоры от слез, сетования и стенания родных, как от приманки лукавого, как от препятствия небесному шествию. Ибо так прилично вести себя душам мужественным и благородным и уму целомудренному. А всему этому служит близким примером и говоривший, и писавший это, и *все почитавший за сор, чтобы Христа приобрести* (Флп. 3,8). Так рассуждая и вооружая словом на подвиг, Киприан произвел многих подвижников. Какую же получает за то награду? Щедрую и высокую: после всех, предпосланных им ко Христу, сам делается мучеником и, раненный в голову мечом, ко многим страданиям присовокупляет и этот венец. Так приводится, так представляется ко Христу этот муж, сильный в нечестии, но гораздо сильнейший благочестием — этот великий Киприан, и гонитель и венценосец, не менее чудный своим обращением, как и добродетелью. Ибо не столько важно соблюсти образ добра, сколько — обновить в себе богобоязненность. Первое есть дело навыка, а последнее дело благого произволения; и первое находим во многих, а последнему немного видим примеров.

Но каково и это в числе чудес его? Скажем еще несколько слов в честь подвижника. Хотя такова была жизнь мужа этого и таков подвиг, однако же, когда оканчивает он жизнь (если позволительно так сказать, а не лучше наименовать кончину его переселением к Богу, или исполнением желания, или разрешением от уз, или сложением с себя бремени), совершается при этом нечто чудесное и соответствовавшее предшествовавшему. Велико было имя Киприана для всех, не только для христиан, но даже и для наших противников (ибо доблести всеми равно уважаются); впрочем, тело его оставалось в неизвестности, и такое сокровище было скрыто, притом на долгое время, у одной из жен, пламенеющих благочестием, не знаю, потому ли, что Бог почтил этим боголюбивую жену, дав ей сохранять у себя мученика, или потому, что Ему угодно было обнаружить нашу любовь, если мы, лишенные святых мощей, будем неравнодушны к такой утрате. Когда же Бог мучеников не потерпел, чтобы общее благо составляло собственность одной, и чтобы по милости к жене несли потерю все, тогда извещает о теле Киприана через откровение, и эту честь предоставляет опять одной достойной женщине, чтоб получили освящение и жены. Как прежде и рожден Христос и возвещен ученикам по воскресении Его из мертвых через жен, так и ныне одна жена указала Киприана, а другая передала на общую пользу эту последнюю его доброту. Так оказывается в центре внимания тот, кому и не надлежит быть скрытым; так не допущено, чтоб он оставался по своему любомудрию в неизвестности даже и после того, как стал выше и совершеннее почестей, какие воздаются телесному.

Вот все, что мог сказать я о Киприане, и не знаю, должен ли что присовокуплять к этому. Ибо, если бы и надолго простер еще слово, то сказанное мной не соответствовало бы и его доблестям и тому понятию, какое каждый имеет об этом муже. И до сих пор предложенное говорено было единственно для того, чтобы сколько-нибудь воздать подобающую ему честь. Но чтобы и от вас принесено было нечто в дар мученику, — вы сами должны восполнить все прочее, как-то: изгнание бесов, исцеление болезней, предвидение будущего. Все это, при помощи веры, может подавать даже прах Киприана, как знают изведавшие это опытом, от которых и нам передана память о чуде, и будет передаваться будущим временам. Лучше же сказать, принесите нечто и этого большее, более приличное истинным его почитателям, а именно: изнурение тела, восхождение сердца, удаление от порока, возвращение добродетели. Девы, принесите истощение плоти, жены — благолепие добродетели больше, нежели тела, юноши — мужество в борьбе со страстями, старцы — благорассудительность, властелины — добрые законы, военачальники — кротость, отличающиеся даром слова — благое слово. Скажу нечто и для своих: священники, принесите тайноводственное учение, мирские — благопокорность, плачущие — утешение, благоденствующие — страх, богатые — милостыню, бедные — благодарность, а все — готовность противостоять лукавому и жестокому гонителю, чтоб он не мог ни явно низлагать, ни скрытно уязвлять, ни ратовать как тьма, ни обольщать и увлекать в бездну погибели как Ангел света. Опасно отдаваться в плен очам, терпеть уязвление от языка, дозволять, чтобы обольщал нас слух, воспламенял кипящий гнев, низлагал вкус, разнеживало осязание; опасно обращать оружие спасения в оружие смерти. Мы должны, оградившись *щитом веры, стать против козней дьявольских* (Ефес. 6,11.16), чтобы, одержав победу со Христом, совершив подвиг с мучениками, услышать его великий глас: *приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царство* (Матф. 25, 34), где обитель всех веселящихся, где глас празднующих, *глас радости* (Пс. 41, 5), совершеннейшее и чистейшее озарение Божества, приемлемое нами ныне только в гаданиях и тенях. Этим чествуемый Киприан увеселяется больше, нежели всеми в совокупности другими почестями. Этому любомудрию, будучи еще на земле, поучал он жизнью; это же любомудрие, по отшествии своем, предписывает всем через мое слово, которого нимало не оставляйте без уважения, если цените сколько-нибудь его терпение и подвиги за истину, а также и меня, исполняющего его поручение.

Таковы плоды слов моих тебе, божественная и священная глава! Такова тебе награда за твои слова и за подвиг — не масличная олимпийская ветвь, не эта детская забава — дельфийские яблоки, не истмийская сосна, не немейский селин, которыми в древности воздавалась честь бедным юношам, но слово, которое всего приличнее служителям Слова! И если оно достойно твоих подвигов и слов, то и это есть дар Слова. Ты же милостиво призри на меня с высоты, управляй моим словом и жизнью, паси свою священную паству или будь моим сопастырем, направляй ее, насколько возможно, к лучшему, гони от нее прочь беспокойных волков и всех гоняющихся за слогами и выражениями, подавай нам наиболее совершенное и светлое озарение Святой Троицы, Которой ты предстоишь ныне, Которой и мы поклоняемся, Которую славим, перед Которой служим, поклоняясь Отцу в Сыне, Сыну в Духе Святом. Ей да будем напоследок предстоять с чистым сердцем и непреткновенно, и став совершенными, да приобщимся Ее совершенно в самом Христе Господе нашем, Которому всякая слава, честь и держава во веки веков, аминь.

# СЛОВО 25. В похвалу философу Герону, возвратившемуся из изгнания

Хотя болен я телом, но буду хвалить философа (ибо и это есть знак любомудрия); и поступлю весьма справедливо. Ибо он философ, а я служитель мудрости; почему мне и прилично хвалить его, чтобы доказать свое любомудрие, если не другим чем, по крайней мере, удивлением философу. А по моему рассуждению должно или самому любомудрствовать, или уважать любомудрие, если не хотим совершенно лишиться всякого добра и подпасть осуждению в неразумии; тогда как мы одарены разумом и посредством слова течем к Слову.

Покажи же нам и ты свое известное во всем прочем любомудрие, дозволив похвалить себя, и терпеливо выслушай похвалу. Ибо стану хвалить не из лести (мне известно нелюбочестие любомудрого мужа; притом же, слово мое ничего не прибавит к делам, а разве уменьшит их достоинство своею скудостью), но чтобы для себя извлечь пользу. А этим не пренебрежет уже любомудрие, которое над тем трудится и о том заботится, чтоб облагодетельствовать чем-нибудь жизнь нашу. И первое из благодеяний — восхвалять доброе, потому что похвала пролагает путь соревнованию, соревнование — добродетели, а добродетель — блаженству, которое составляет верх желаний, цель всех стремлений любителя знаний.

Итак, приступи, наилучший и превосходнейший из философов (присовокуплю даже) и из свидетелей истины! Приступи, обличитель лжеименной мудрости, которая состоит в одних словах и очаровывает сладкоречием, а не может и не хочет взойти выше этого! Приступи, одинаково искусный в добродетели, как в созерцательной, так и в деятельной, ты, который, и в чуждой для нас одежде, философствуешь по-нашему. А может быть, и одежда твоя нам не чужда; так как и ангелам свойственно быть светоносными и сияющими, когда изображают их в телесном виде, что считаю символом естественной их чистоты. Приступи, мой философ и мудрец (ибо доколе любить мудрость, если нет мудрости?)! Приступи, пес; назову так не за бесстыдство, но за дерзновение, не за ненасытность, не за то, что ограничиваешься насущным, не за даяние, но за сбережение доброго, за неусыпность в охранении душ, за то, что ласкаешься ко всем, которые тебе — свои в добродетели, а лаешь на всех чужих! Приступи и стань близ этой Жертвы, у этой таинственной Трапезы, подле меня, который этой Жертвой тайноводствует к обожествлению! Тебя приводят к ней и учение, и жизнь, и очищение посредством страданий. Приступи; увенчаю тебя нашими венцами, и не среди Олимпии, не на малом позорище Эллады, не за отличие в борьбе, или в рукопашном бою или в беге, не за другие маловажные подвиги, совершаемые для маловажных наград и в честь кого-либо из героев или демонов, прославленных несчастием и баснословием (ибо подобное этому уважается и чествуется ими, после того как неразумие призвало себе в помощники время и обычай, ставший законом), но перед Богом, перед ангелами, перед всей полнотой Церкви, громогласно провозглашу о тебе, победившем ложь ереси, во славу Живого Бога, собственными страданиями учащего страдать, — победившем за такую награду, чтобы принять небесное царство, стать богом, не подлежащим страданию.

Что же это за провозглашение? Если хотите, чтоб оно было короче и определеннее, то скажу: вот самый нелживый подвижник истины, даже до крови поборник Троицы и гонитель гонителей, наносивший им зло своей готовностью злострадать; ибо ничто так не низлагает гонителя, как ревность страждущего! А если угодно, чтоб мое провозглашение было полнее и обширнее, то скажу: вот наилучший из лучших и благороднейший из благородных! Говорю же не о том благородстве, какое чернь разумеет. Прочь от нас с ним! Не нам и не философам дивиться тому благородству, которое берет свое начало в баснословии, гробах и давно сгнившей уже кичливости, сообщается с кровью и с грамотами, и которое дает ночь или рука властелина, может быть и неблагорожденного, также предписывающего быть благородным, как и делать то или другое. Напротив, имею в виду благородство, отличительный признак которого есть благочестие, добрая нравственность и восхождение к первому Благу, нашему началу. Такого благородства — одно доказательство. А наш доблестный муж не только сам подвижник, но и произошел от мучеников, имел у себя домашний образец добродетели. По мудрости он гражданин целой Вселенной; потому что киническая философия не позволяет ограничиваться тесными пределами. А по плоти — гражданин города Александрии, который стоит наряду с нами или следует за нами, непосредственно, и во всем превосходя прочие города, преимущественно отличается горячностью, и что всего прекраснее, горячностью христианской и такой приверженностью к христианству, которая происходит от желания, но укоренена в самой природе. Ибо когда в воспламенение приводит благочестие, тогда рождается ревность; а ревность есть ограждение веры.

Так он был воспитан, и получил образование, приличное своему происхождению и назначению. Когда же наступило время избрать род жизни (в чем полагаю основание и доброго и худого поведения), — усматривает он нечто великое, отважное, превышающее выбор людей обыкновенных. Роскошь, богатство и могущество презирает более, нежели избыточествующие в этом презирают других; осмеивает же и отвергает роскошь, как первое из злостраданий, богатство, как крайнюю бедность, и могущество, как верх бессилия; потому что не почитает того и благом, что приобретших делает не лучшими, а чаще всего худшими, и у обладающих не остается до конца. Философии вручает владычество над страстями, со всей бодростью стремится к добру, еще до разлучения с веществом отрешается от вещественного, борется с видимым, всем величием природных сил, всем благородством соизволения прилепившись к постоянному. А когда утвердился в таких мыслях, — не почел уже нужным рассуждать, какое лучше избрать любомудрие: внешнее ли, которое под видом и личиной любомудрия играет тенями истины, или наше, наружно смиренное, но возвышенное внутренне и ведущее к Богу. Напротив, от всего сердца избирает он наше любомудрие, даже не обратив и помысла на худшее и не увлекшись изяществом речи, о которой столько думают греческие философы. Первым же делом своей философии считает — узнать, какой из наших путей предпочтительнее и полезнее, как для него, так и для всякого христианина. Ибо признаком души наиболее совершенной и любомудрой считал он — при всяком деле обнимать в частном и общее; потому что каждый из нас получил бытие не для одного себя, ной для всех, которые имеют с ним одну природу, и произведены одним Творцом и для одних целей. Притом видел, что жизнь пустынная, отшельническая, удаляющаяся и чуждающаяся общения с людьми, хотя сама по себе важна и высока, даже выше сил человеческих, однако же ограничивается только преуспевающими в ней, отрицается же от общительности и снисходительности — свойств любви, которая, как известно ему было, есть одна из первых достохвальных добродетелей. Кроме того, такая жизнь, как не обнаруживающаяся в делах, не может быть поверяема и сравниваема с другими родами жизни. Напротив, жизнь общественная, проводимая в кругу других, кроме того, что служит испытанием добродетели, и распространяется на многих, и ближе подходит к Божию домостроительству, которое и сотворило все, и связало все узами любви, и наш род, после того как он утратил свою доброту через прившедший грех, снова воззвало посредством соединения и обращения с нами. Когда же сообразил и исчерпал это умом, а вместе признал одним из добрых дел — смирить кичливость эллинских философов, которые думают придать себе важности плащом и бородой; тогда что он делает? И как приступает к философии? Наблюдает некоторую середину между их суетностью и нашей мудростью; у них заимствует наружность и одежду, у нас — истину и высоту. Поэтому перипатетиков, академиков, почтенных стоиков, и слепой случай Эпикура с атомами и удовольствием, увенчав волной, как некто из них — стихотворца, отсылает и гонит от себя, как можно дальше. В кинической же философии он осудил безбожие, а похвалил воздержание от излишнего, и стал, как видите теперь, псом против действительных псов, любомудрым против немудрых и христианином для всех. Он пристыжает высокомерие циников сходством наружности, а малосмысленность некоторых из наших — новостью одеяния, и доказывает собой, что благочестие состоит не в маловажных вещах, и любомудрие — не в угрюмости, но в твердости души, в чистоте ума и в искренней наклонности к добру. А при этом можно иметь и наружность, какую угодно, и обращение, с кем угодно, и оставаться одному с самим собой, укрывая ум от чувств, и жить в кругу людей и знакомых, уединяясь в самом обществе, любомудрствуя среди нелюбомудрых, подобно Ноеву ковчегу, который носился поверх вод потопа, или подобно великому Моисееву видению — купине, которую пылающий огонь не сжигал, не терпеть вреда от обращения с народом, или терпеть не более, как алмаз под ударами, и даже по мере сил, примером своим исправлять и других.

Плодом такой философии были не построенные на словах города, не какие-нибудь, как сами они называют, скиндапсы и трагелафы — ничего не означающие сочетания букв, не категории, разложения и смеси, не симвамы и парасимвамы, и вся именословная мудрость, не какие-нибудь черты, нигде не имеющие места, не взаимные сочетания звезд и созвездия, выдуманные в оскорбление Божия Промысла. Ибо все это считал он предметами второстепенными и придаточными, которыми можно заняться для забавы, чтобы не стать посмешищем для людей, выдающих себя знатоками таких вещей. Первым же и важнейшим для него делом было — говорить правду перед князьями, иметь дерзновение перед царями, в подражание Божественному Давиду, который говорил перед *царями и не стыдился* (Пс. 118,46) останавливать безрассудство волнующейся черни, власть раздраженных господ, истощение несогласных семейств, грубость невежд, заносчивость ученых, превозношение богатого, надменность живущего в довольстве; нищету, доводящую до преступлений; гнев, стремительный и лишающий рассудка; неумеренность в наслаждениях, невоздержанность смеха, чрезмерность скорби; прекращать беспорядки юности, малодушие старости, одиночество вдовства, отчаяние сиротства. Всего этого не предпочтет ли силлогизмам, линиям и рассматриванию звезд всякий здравомыслящий человек, рассудив, что если бы все занимались умозаключениями, стали геометрами и астрономами, то от этого не произошло бы никакой пользы для нашей жизни, а скорее бы все расстроилось; напротив, если не будет в обществе ни одной из добродетелей, мной перечисленных, — по необходимости придет все в беспорядок и замешательство? И нужно ли говорить, насколько добродетели эти лучше и выше гордости Антисфена, ненасытности Диогена и общеженства Кратета? Пощадим этих философов, по крайней мере, из уважения к названию, чтобы и им от этого мужа получить некоторую пользу. Но чтоб не распространяться о целомудрии, воздержанности, смирении, приветливости, общительности, человеколюбии и о прочих доблестях, которыми наш философ превосходит всех, обратимся к тому, что по порядку времени последнее, а по важности первое.

Было время, что после ересей настала тишина, и Симоны, Маркионы, Валентины, Василиды, Кердоны, Керинфы и Карпократы, долгое время рассекавшие Бога всяческих и за Благого воздвигавшие брань против Создателя, со всеми своими бреднями и нелепостями поглощены собственной их Глубиной, и по справедливости преданы Молчанию; а также сошли со сцены и удалились — лукавый дух Монтана, тьма Манеса, жестокость Навата, и злонамеренная защита Савеллием единоначалия; и Наватово учение отлучено наряду с другими противоборствующими истине, а Савеллиево, по причине неосновательности, совершенно отринуто и презрено. Между тем ничто другое не огорчало Церковь, ибо гонения делали ее еще более славной через сами страдания.

Но через некоторое время восстает на Церковь новая буря — эта пучина неправды, полнота нечестия, этот легион духов, язык антихристов, ум, говоривший *неправду в высоту* (Пс. 72, 8), усекавший Божество, тот, чье предприятие ужасно, а кончина еще ужаснее и достойна предательства Иуды, на каковое дерзнул он против Спасителя нашего, этот Арий, прилично получивший себе имя от неистовства. Он, начав с Александрии, где замыслил свое ужасное учение, после того как, подобно неудержимому пламени, возгоравшемуся от искры, прошел большую часть Вселенной, низлагается нашими Отцами и благочестивым сонмом, который собрался тогда в Никее и заключил Богословие в точные пределы и выражения.

Потом настает худое царствование, и снова оживает зло, как будто раскрываются и прорываются нагноившиеся раны; как будто свирепые волки, окружив нас со всех сторон, терзают Церковь. Священники вооружаются на священников, сословия восстают с неистовством против сословий, сам Царь придает дерзости нечестию, пишет законы против Православия, и при нем усиливаются люди, которых нельзя назвать ни мужами, ни женами. Но кто должным образом изобразит вполне тогдашние бедствия — изгнания, описания имуществ, бесчестия, переселения в пустыню многих тысяч и целых городов, бедствующих там под открытым небом, страждущих от дождей и стужи и принуждаемых бежать даже из самой пустыни, потому что и она не избавляет от опасности?

Кто изобразит бедствия и этих жесточайшие — побои, смерти, изведение на позор епископов, ведущих любомудрую жизнь, мужей, жен, юношей, старцев? Кто изобразит, как народовластители изобретают лютые мучения, к изобретенным присовокупляют новые, услуживают нечестию, часто тем единственно заслуживают одобрение, что оказывают жестокости даже сверх воли державного? Недавно возымело конец это знаменитое гонение, и Персия прекрасно решила наше дело, истребив губителя, и в возмездие за кровь многих удовлетворив кровью одного.

А теперь начинается гонение позорное, под тем предлогом, чтоб оградить христиан от нечестия, оно нападает на истинных христиан; и тем оно ужаснее прежнего, что тогда подвиг был знаменит и славен, ныне же и страдать не похвально, по крайней мере в глазах людей, которые о страданиях судят неправильно. Хотите ли, чтоб у всех предстоящих, а может быть, и у самого твердого, не побеждаемого никакой страстью, извлек я слезы, напомнив об одном из тогдашних событий? Свидетели повествуемого мной многочисленны, до многих дошло плачевное сказание об этом страдании, а думаю, что история этого времени передастся и будущим временам.

Корабль, несущий на себе одного пресвитера, бедствующего не за худой поступок, но за Веру, снаряжается в море, чтоб не спасти, но погубить плывущего. И он, как муж благочестивый, охотно вступает на корабль, в спутники ему дается огонь; а гонитель увеселяется новым родом мучения. Какое зрелище! Какое злодеяние! Корабль среди моря, берега покрыты зрителями, и из них одни смотрят с удовольствием, другие терзаются. Можно ли в кратких чертах изобразить мне многое? — Огонь возгорается, поглощает корабль, а вместе с ним и плывущего; пламя мешается с водой, две противоборствующие стихии действуют заодно, чтоб мучить благочестивого; обе они делят между собой одно тело. Над морем стоит необычайный светильник; иной приближался может быть к нему, как к кроткому и приветливому; но, приблизившись, находил горестное и невероятное зрелище, — корабль без кормчего, кораблекрушение без бури, пресвитера, обратившегося в пепел, или даже и не в пепел, потому что и тот рассыпан был по водам. Священству не оказано и того уважения, чтоб иметь ему честную кончину, а если не кончину, то, по крайней мере, гроб, в котором не отказывают и нечестивым. Таков корабль, снаряженный нечестивцем, и таков конец благочестивого; и никогда огонь небесный и карательный не бывает светозарнее огня, озарявшего это событие!

Но что мне до постороннего? Время уже приступить к твоему собственному подвигу и к твоим страданиям за благочестие, которые, как прекрасная печать, приложены тобой ко всем прежним подвигам. Зло этой ереси имело полную силу в твоем городе, где оно получило и начало. Между тем святейшее око Вселенной, Архиерея Иереев, твоего наставника в исповедании, поучавшего собственными подвигами за благочестие, этот великий глас, столп Веры, этого (если можно так сказать) второго светильника и предтечу Христова, почившего в старости доброй, исполненной дней благоугодных, после наветов, после подвигов, после многой молвы о руке, после живого мертвеца, к Себе переселяет Троица, для Которой он жил и за Которую терпел напасти (я уверен, что по этому описанию всякий узнает Афанасия). Тогда вторгается в Церковь новая египетская язва или казнь, — предатель истины, волчий пастырь, разбойник, перескакивающий через двор овечий, второй Арий, *питье с примесью злобы* (Авв. 2, 15) и странное, поток безбожия, который обильнее самого источника. Коснеет язык мой пересказывать тогдашние беззакония и скверные убийства, среди которых этот зверь занимает святой престол и которые предшествовали лукавому его вшествию. Однако же оплачу из многого немногое (что и вы оплакиваете и прежде оплакивали), взывая словами Давида: Боже, *язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой,* и еще следующими: *отдали трупы рабов Твоих на съедение птицам* (Пс. 78,1. 2) и зверям. Присовокуплю и эти слова из другой плачевной песни того же пророка: *все разрушил враг во святилище Твоем, и рыкают враги Твои среди собраний Твоих* (Пс. 73,3- 4). Ибо как не хвалились они! Как не оскверняли святого храма различными приключениями и злодеяниями всякого рода! Предводительствовал человек безбожный и беззаконный, не имевший (что всего ужаснее в поругании) даже имени христианина, но пришедший в храм Божий прямо от идолов, от нечистых кровей еще к гнуснейшим и отвратительнейшим, и таким над нами поруганием совершавший, может быть, службу демонам. Снаряжалась сила, кипящая яростью, — воинство необычайное и свирепое против людей безоружных и невоителей. Изгоняем был преемник Святого иерей, помазанный Духом по закону и чину, украшенный сединой и благоразумием, а воцарялся Тавеил (Ис. 7,6), наследник чуждой власти. На святых поднято оружие, на неприкосновенное занесены нечистые руки, и песнопения заглушены звуком труб. Смотри же, что за этим еще следовало: мужи падали мертвыми в святилищах; жены, даже с носимым ими естественным бременем, попираемы были ногами и оттого преждевременно рожали, или, точнее сказать, делались нерождающими; дев влекли немилосердно, подвергали позорным истязаниям (настолько же стыжусь мужей и жен это описывать и обнажать словом сокровенности позора, насколько стыжусь за них самих, тогда обнажаемых); одни, от неблагопристойности ими видимого, бросались в колодцы, находившиеся внутри храма, другие кидались стремглав из верхних притворов, иные кучами повергались на лежащие трупы. Убийства следовали за убийствами, поражения за поражениями; святыня потоптана нечистыми ногами, алтари поруганы бесчинными телодвижениями и песнями, даже (как слышу — чей дерзновенный язык выговорит это?) плясками и кривляньями; богохульные языки проповедовали со святительских престолов, таинства подвергались кощунству, песнопения умолкли, и вместо них раздавался вой; текли потоки крови, ручьи слез; священников уводили, отшельников терзали, — совершенное подобие нашествия ассириан, когда пришли во святой Иерусалим! Ни слово не может вполне изобразить, ни слух вместить этого, и чтоб оплакать это, как должно, нужны душа и глас Иеремии, который сам требует источников слез (Иер. 9,1), призывает стены пролить их о подобных злостраданиях (Плач. Иер. 2,18), налагает плач на пути Сионские, *потому что нет идущих на праздник* (Плач. Иер. 1,4). Такие события видел Восток, но оплакивал их и Запад, где изгнанный иерей всенародно показывал знамения этого безумия. Каким же образом? Не мертвецов, но окровавленную одежду представил он Римской Церкви, и старался извлечь у всех слезы безмолвной жалобой, чтобы и страдание выразить, и получить в бедствиях помощь, которая, как известно нам, и была получена. Ибо сильный всего скорее склоняется к слабому и по добровольному благорасположению берет сторону униженного.

И никто из благочестивых не мог перенести этого равнодушно, но тем в большей мере возбуждает это тебя, чем совершеннее твой ум и пламеннее ревность. Поэтому ты ополчаешься за слово, а вместе и сам подвергаешься нападениям нечестия. После многих ратоборств, в которых делом и словом подвизался ты за правду, поучая, увещевая, возбуждая, обличая, укоряя, посрамляя простолюдинов и начальников, наедине и всенародно, во всякое время и на всяком месте, наконец, когда злочестивая власть предалась бешенству, ты схвачен и (как благородно твое бедствование! как священны твои раны!) добродетельную плоть свою отдаешь на бичевание, оставаясь как бы зрителем чужих страданий. Хотя изнемогает в тебе видимое, однако же не низлагается внутреннее. Взорам всех открывается мужество твое; и, когда язык отказался уже вещать, ты делаешься безмолвным учителем терпения. Что же потом? — Тебя, для которого нигде нет ни своей, ни чужой стороны, изгоняют из отечества для того, думаю, чтоб и другие научились от тебя благочестию. Местом заточения твоего назначен Оазис, безлюдная пустыня, благодаря тебе уже сделавшаяся значительным селением.

Сообщи же нам благие плоды твоего изгнания, так как пользуемся плодами твоего возвращения. И пусть возвращение твое будет для нас общим зрелищем. Кого научил ты там любомудрствовать? Кого отвлек от нечестивых мнений? Кого привел к благочестию? Как будто вижу перед собой тамошнее училище, вижу и последнее собрание вокруг тебя. Скажи и это: имел ли ты сколько-нибудь утешения для останков плоти, или и нищета входила в твое любомудрие? Были ли у тебя сообщники твоего подвига, или в этом охотно терпел ты недостаток? Желал ли видеть при себе сестер, с которыми вместе обучился чистоте и терпению, или был ты выше и привязанности своей к ним? Беспокоило ли тебя одиночество престарелой твоей матери, или крепко был ты уверен, что оставил им самую твердую защиту — благочестие?

Но поскольку ты (что прекрасно сделано) возвратился к нам, поскольку Тот, Кто *прославляет прославляющих* Его (1 Цар. 2, 30) и *раздражает раздражающих* (Втор. 32,21), *Кто исполняет желание боящихся Его* (Пс. 144,19) и в мертвых вдыхает силу воскресения, Кто четырехдневного Лазаря и тебя четырехлетнего оживотворяет сверх чаяния; Кто, по видению досточудного и возвышеннейшего из Пророков Иезекииля (37,7), соединять кости с костями и сустав с суставом, — и тебя, и исполненного к нам любви, отдал опять любящим тебя, то продолжай снова то же делание и с тем же дерзновением, дабы не подумали, что страдания расслабили тебя, и что ты из страха изменяешь любомудрию. Посрамляй, как и прежде, и суеверие эллинов, и их многобожное безбожие, древних и новых богов, и гнусные басни и еще гнуснейшие жертвы, как говорит некто, из них же самих, очищающих грязь грязью, то естьплоть плотью, собственную плоть — плотью бессловесных. Посрамляй и благопристойные их изваяния, и срамных истуканов, которыми если ограничивают они Божество, то какое жалкое ослепление! А если изображают только, то какое невежество! Пусть объяснят, какая причина такого безобразия и какой таинственный в этом смысл! Ибо надобно, чтоб и сами выражения прекрасного не были безобразны, или скажут, что здесь заключается нечто кроме этого? Пусть удостоверят, что именно? Из каких взято книг и богословов? Посрамляй и восстания ересей, даже тем ревностнее, что ты искусился уже в страданиях, ибо любомудрие делается от страданий мужественнее, и твердость в бедствиях, как раскаленное железо в холодной воде.

Заключи в пределы и наше благочестие, учи ведать, как Единого нерожденного Бога — Отца, так Единого рожденного Господа — Сына (именуемого Богом, когда говорится о Нем в отдельностя (), и Господом, когда именуется Он при Отце, Богом — по естеству, Господом — по единоначалию) и Единого Духа Святого, исшедшего или исходящего от Отца, Бога *для разумно разумевающих предлагаемое* (Притч. 23,1), оспариваемого нечестивыми, но теми, которые выше их, признаваемого, и еще более духовными проповедуемого. Учи нас не делать Отца подначальным (дабы не ввести чего-то такого, что первоначальнее первоначального, и чем извратится бытие первоначального), а Сына или Духа Святого не делать безначальным (дабы у Отца не отнять Ему свойственного). Ибо они не безначальны, и вместе в некотором отношении- (что и составляет трудность) безначальны. Они не безначальны в отношении к Виновнику, потому что, как свет из солнца, так они из Бога, хотя и не после Него. Но Они и безначальны в отношении ко времени, потому что не состоят под временем, а иначе, текучее было бы старше постоянного и несамостоятельное — самостоятельного. Учи не вводить трех начал, чтоб не ввести чего-либо языческого или многобожного, да и вводя одно, не вводить какого-либо иудейского начала — скудного, завистливого, бессильного, или предполагая, что Божество поглощается само Собой (как угодно тем, которые Сына, хотя производят от Отца, но опять разрешают в Отца), или (что нравится нынешним мудрецам) унижая естество Сына и Духа и отчуждая от Божества, как будто бы Оно опасается противоборства и не имеет силы произвести что-либо выше тварей. Учи не признавать Сына нерожденным (потому что Отец один) и Духа Сыном (потому что Единородный один). Пусть и эти Божеские свойства принадлежат Им исключительным образом, а именно: Сыну — сыновство, Духу же — исхождение, а не сыновство. Учи — Отца именовать истинно Отцом и в смысле гораздо более истинном, нежели как именуются наши земные отцы; потому что Он — Отец в единственном смысле, то есть своеобразно, а не по подобию плотских отцов, — Отец Единственный, то есть не в сочетании с кем-либо, — Отец Единственного Сына, то есть Единородного, — Отец исключительно, то есть не бывший прежде Сыном, — Отец всецело и всецелого Сына (чего нельзя достоверно сказать о наших отцах), — Отец изначала, то есть не впоследствии сделавшийся Отцом. Учи — Сына именовать истинно Сыном, потому что Он Единственный Сын Единственного Отца, Сын в единственном смысле и исключительно, а не вместе и Отец, — Сын всецело и всецелого Отца, — Сын изначала, не начавший когда-либо быть Сыном; потому что не вследствие применения советов Его Божество, и не вследствие преуспевания — Его обожествление, так чтобы Отец не был когда-либо Отцом и Сын — Сыном. Учи именовать Святого духа истинно Святым; потому что никто другой не свят так и в такой мере, и Святость Духа есть не что-либо придаточное, но самоисточное; Она не есть что-либо возрастающее или убывающее, что-либо во времени начинающееся и прекращающееся. И Отцу, и Сыну, и Святому Духу суть общи неначинаемость бытия и Божественность; но Сыну и Духу принадлежит иметь бытие от Отца. И отличительное свойство Отца есть нерожденность, а Сына рожденность, и Духа Святого — исходность (). Когда же домогаешься постигнуть образ (рождения и исхождения), тогда что оставляешь Им самим, Которые, по свидетельству Писания, одни только знают Друг Друга, и Друг Другом познаются (1 Кор. 2, 11), или что оставишь и тем из нас, которые впоследствии будут просвещены тамошним светом? Сделайся прежде чем-либо из сказанного или подобным тому, и тогда познаешь столько, сколько Они познаются Друг Другом. Теперь же учи единственно ведать это: Единицу в Троице и Троицу в Единице поклоняемую, в которой и раздельность и единство непостижимы. Не бойся, что, исповедуя рождение, припишешь Божеству страдательность. Божество, хотя и рождает, однако же не страждет. И я в том тебе порукой, что Оно рождает божески, а не человечески, потому что и бытие Его не человеческое. Бойся же приписывать Богу время и тварность; ибо, если произошел во время, то не Бог. Бойся, чтоб, без нужды стоя за Бога, не отринуть Бога, сделав сослужебной тебе тварью Того, Кто равен Отцу по Божеству, кто и тебя освободит от рабства, если искренно исповедуешь Его владычество. Не бойся исповедовать исхождение; потому что Богу, во всем преизбыточествующему, равно нет необходимости — или не изводить или изводить. Бойся же отчуждения и той угрозы, какая возвещена не богословствующим, но хулящим Духа Святого (Матф. 12,31,32). Не воздавай худого чествования Единоначалию, сокращая или обсекая Божество. Не стыдись обвинения в троебожии, пока можно другого винить в двоебожии; с ним вместе и ты или опровергнешь обвинение, или придешь в затруднение, или, когда у него вместе с умствованиями его потерпишь крушение Божества, у тебя соблюдается Оно невредимым, хотя и изнеможет слово. Лучше изнемочь в умствованиях под водительством Духа, нежели, гонясь за легкостью, без труда согласиться на нечестивые мнения. Пренебрегай настоятельностью и возражениями — этим новым благочестием, этой мелочной мудростью, и презирай их больше, нежели ткани пауков, которые задерживают мух, но легко прорываются осами, не говорю уже, пальцем или другим чем-нибудь более тяжелым. Учи одного только бояться, а именно: своими лжеумствованиями подкапывать Веру Не беда, если побелят кого словом; потому что не всем дан дар слова. Страшно отложиться от Божества; потому что упование всем необходимо.

Ты и сам собой рассудишь все это, даже, насколько знаю, и внимательнее, и совершеннее. В том ручаются мне твои раны и понесенные тобой труды ради благочестия. Но и я, по мере сил своих, полюбомудрствую с тобой. Когда же отправишься в добрый путь свой, — вспомни о Троице, обитающей в скиниях (если только Бог в рукотворных храмах живет), вспомни о малой жатве. Хотя немало на ней семян благочестия, однако же она мала и скудна, и собирается с нее понемногу. *Как по собрании летних плодов* (если кстати употребить здесь слово Пророка), *как по уборке винограда: ни одной ягоды для еды* (Мих. 7,1). Видишь, каков у нас сбор плодов, поэтому постарайся сделать; чтоб и гумно обогатилось, и точило стало полнее. Расскажи и о моем призвании, о невероятном переселении, которое совершил я не для того, чтобы роскошествовать, но чтобы злопострадать, дабы через крушение бедствий приобщиться и славы. Надейся, что помощником твоим в молитвах и спутником в странствовании будет этот народ, — эта скудная числом паства, но не скудная благочестием, стесненность которой уважаю я больше, нежели широту других паств. Это вещает Дух Святой. С Ним пройдешь через огонь, усыпишь зверей, укротишь властелинов. Так отправляйся в путь, так путешествуй, и опять возвратись к нам обогащенным, вторично увенчанным, воспевая с нами победную песнь, и ныне и впредь, во Христе Иисусе Господе нашем. Ему слава вовеки, аминь!

# СЛОВО 26. Произнесенное святым Григорием Богословом о себе самом, когда он после покушения Максима занять архиепископский престол в Константинополе возвратился из села

Я желал быть с вами, дети, и вы в равной мере желали быть со мной. Верю этому, и если слово требует подтверждения, — клянусь: *свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем* (1 Кор. 15,31)! Эту клятву дал Дух Святой, подвигший меня к вам, да уготовлю Господу *народ особенный* (Тит. 2,14). Смотрите, какова вера: и за себя уверяю, и за вас ручаюсь. И это нимало не удивительно. Где общий дух, там и чувствования общие; а где равно чувствуют, там равно и верят. Кто сам не ощущал чего, тот не поверит и другому; а кто чувствовал, тот готов дать согласие; он — невидимый свидетель невидимого чувствования, он — собственное зеркало для чужого образа.

Поэтому-то у меня не достало терпения жить долее в разлуке с вами; хотя не мало огорчает и тяготит меня видимое здесь, — не одно то, что в городах обыкновенно: стечение народа, шум, торжища, зрелища, пресыщение, обиды, влекущие и влекомые, наносящие и претерпевающие вред, плачущие и оплакиваемые, рыдающие, радующиеся, женящиеся, погребающие, хвалимые и хулимые, все поводы к пороку, брожение мира, внезапные перемены как в Еврипе и в направлении ветров, но даже и эти почтенные и достойные уважения люди, — говорю о предстоящих в этом алтаре и при святой трапезе. Так как имею, по-видимому, над ними власть, и сам нахожусь в числе приступающих к Богу, то боюсь, что мы худо приступаем, и, как солома, приближающаяся к огню, не стерпим огня. При всем том я возвратился к вам; и хотя удалился по принуждению, однако же прихожу назад без принуждения, даже с великой охотой, и как говорится, ноги сами шли; так Дух ведет меня, подобно потоку который вверх поднимает с усилием, а вниз сам собой течет быстро. Подлинно, один день составляет целую человеческую жизнь для тех, которые страдают любовью. Ибо, мне кажется, не идет сюда в пример, что было с Иаковом, который, четырнадцать лет работая Лавану сириянину за двух дев, не утомлялся. Для него, как сказано, *потому что любил* их, все дни были как день один (Быт. 29, 20), может быть, потому что предмет любви находился перед глазами, или потому что легко страдать любовью, хотя замедление и огорчительно. Так, что легко поступает в обладание, то менее возбуждает пожелания, как сказал некто прежде нас. И я, когда был вместе с вами, — мало чувствовал силу любви, а когда разлучился, узнал любовь — этого услаждающего мучителя. В этом нет ничего необыкновенного. Пастух скорбит о тельце, который отстал от стада, об овце, которой не достает в десятке, и птичка горюет о гнезде, которое оставила ненадолго. Один, взяв свирель, взойдя на высокое место, наполняет унылыми звуками свирель свою, зовет заблудившихся, как разумных, и, если послушаются, радуется о них больше, нежели обо всем стаде, которое не сделало ему таких забот. А другая с криком летит к гнезду, припадает к щебечущим птенцам и обнимает их крыльями. Какая же привязанность должна быть у доброго пастыря к словесным овцам, за которых он подвергался уже опасностям, так как и это усугубляет любовь? Так и я боюсь, чтоб лю*тые волки* (Деян. 20, 29), подметив окружающую нас тьму, не разогнали стада увлекательными и дерзкими учениями. Ибо, не имея сил действовать явно, они ожидают безвременья. Боюсь, чтоб *разбойники и воры,* проходя через двор (Иоан. 10,1), или бесстыдно не похитили, или не поймали обманом, и потом не заклали, не убили, не погубили, *терзая добычу, души съедают,* как сказал один из Пророков (Иез. 22,25). Боюсь, чтобы кто-нибудь, вчера и третьего Дня бывши нашим, найдя дверь не запертой и войдя в нее, как свой, не стал строить нам козней, как чужой. Ибо много различных ухищрений у того, кто действует таким образом, и никто не разнообразен настолько в изобретательности, насколько преухищренный на зло противник наш. Боюсь еще и псов, которые усиливаются стать пастырями, и, что особенно странно, ничего не приносят в пастырское звание кроме того, что остригают волосы, которые не на добро растили. Они и псами не остались и пастырями не сделались, а только расхищают, рассыпают и разрушают чужой труд. Потому что всегда легче — повредить, нежели сохранить; *и человек рождается,* говорит Иов (Иов. 5,7), и корабль строится, и дом созидается с трудом; но одного убить, другой разрушить, третий сжечь может всякий, кто захочет. Итак, да не думают много о себе те, которые приставили к стаду псов; они не могут сказать, что приобрели или спасли, хотя одну овцу. Ибо упражнявшиеся в худом не научились делать добра. Если же они истребляют стадо; то это делает и небольшая буря, и легкая болезнь, и один внезапно напавший зверь. Итак, да перестанут они хвалиться своим бесславием, а если могут, да перестанут делать зло, *да поклонятся, припадут и восплачут перед Господом, сотворившим их* (Пс. 94, 6), и да присоединятся к стаду те из них, которые еще не вовсе неисцелимы.

Это говорю вам я — пастырь робкий и осмотрительный, которого за осторожность укоряют в бездеятельности. Ибо я не из числа пастырей, которые *млеко едят, волной одеваются, тучное закапают, а стада не пасут* (Иез. 34,3—4), или продают и говорят: *благословен Господь, я обогатился* (Зах. 11,5), которые пасут самих себя, а не овец (если вам памятны слова Пророков, которыми они поражают злых пастырей); напротив, я более принадлежу к числу пастырей, которые могут сказать о себе с Павлом: *Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется,* и меня не воспламеняет забота (2 Кор. 11, *29). Я ищу не вашего, а вас*(2 Кор. 12, 14). *Я томился днем от жара, а ночью от стужи,* по слову Патриарха, — пастыря (Быт. 31,40), у которого овцы были *крепкие* и старались *зачинать* у тамошних *корыт* (Быт. 30,41 —42).

Так и по таким причинам пришел я к вам, которые находятся в таком положении. А поскольку пришел, то дадим друг другу отчет, что успели мы сделать в продолжение разлуки. Ибо не худо помнить, что от нас потребуют отчета не только за слова и дела, но как за целое время, так и за самую малую и краткую часть времени. Вы *возвестите* мне *деяние свое* (Иоан. 1,8), а я предложу вам, о чем любомудрствовал я в безмолвии, беседуя сам с собой. Какое из высоких умозрений, или заимствовав от меня, сохранили вы, или сами от себя присовокупили, относительно или Богословия, или других догматов, многие из которых и часто я предлагал вам? "Требую от вас не только долга, но и роста, не только *таланта,* но и прибытка, дабы кто-нибудь, скрыв и закрыв вверенное, не стал еще клеветать на вверившего, что Он *жесток* и желает чужого (Матф. 25, 24). Итак, какое похвальное дело принесли вы в плод, так чтоб или *не узнала левая рука* (Матф. 6,3), или просветился свет ваш перед людьми (Матф. 5, 16), чтоб по плодам было видно дерево, по ученикам мог быть узнан учитель, и чтоб всякий из наблюдающих за нами (а это делают многие, — одни по благорасположению, другие из любопытства) мог сказать, *истинно с вами Бог* (Кор. 14,25),и вы не только здраво проповедуете Его, но и служите Ему? Ибо как дело без веры не приемлется, потому что многие делают добро ради славы и по естественному расположению, так *вера без дел мертва* (Иак. 2,20). И никто да *не обольщает вас пустыми словами* (Ефес. *5,*6) кто-либо из людей, которые охотно дозволяют все под тем одним условием, чтоб вы приложились к нечестивым учениям, и предлагают за худое дело худую награду. Итак, покажите веру от дел, покажите плодородие земли вашей, точно ли не напрасно я сеял, есть ли у вас хотя один *скоп хлеба, имеющий силу, чтобы сделать муку* (Ос. 8, 7), и стоящий житницы, чтоб нам впредь возделывать вас еще усерднее. Кто приносит плод во сто крат? кто в шестьдесят? кто наконец хотя в тридцать? Или наоборот, кто, от тридцатикратного восходя к шестидесятикратному (ибо и этот порядок видим в Евангелии) окончил сторичным плодом, чтоб, *преуспевая,* подобно Исааку (Быт. *26,*13), стать великим, идя от *силы в силу,* воспевая песни степеней и полагая *восхождения* *в сердце* (Пс. 83, 6, 8)? *Ищу плода, умножающегося в пользу вашу* (Фил. 4,17). Ибо прибыток ваш, а не мой. Если же и мой, то потому, что он ваш; ибо польза от вас возвращается к нам, подобно отраженным лучам. Питали ли вы нищих? Принимали ли странных? Умыли ли *ноги святым* (1 Тим. 5,10)? Или угождая чреву, которое ун*ичтожится* (1 Кор. 6,13), услаждались вы (положимте) и заповедями, так как нет услаждения, которое было бы лучше и прочнее этого для желающих услаждаться? Покоили ли по мере сил (позвольте сказать и об этом) кого-либо из служащих жертвеннику и прекрасно убожествующих, чтоб они, не развлекаясь, тем усерднее служили жертвеннику, и, заимствуя из вашего, привносили взамен и свое? Стыдно подлинно и нам просить об этом, и вам не удалять. Не для того заметил я *это, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели* чтоб уничтожилась похвала моя (1 Кор. 9,15) и благовествование мое осталось без награды, когда здесь соберу плоды, — ибо благовествовать есть дело необходимости, а благовествовать безвозмездно — дело усердия, но да научитесь вы благотворить Христу, благотворя кому-либо и из малых. Ибо Христос, как сделался для меня всем, что есть во мне, кроме греха, так приемлет на Себя и все сколько-нибудь меня касающееся, — доставишь ли ты мне кров или одежду, посетишь ли в темнице, придешь ли к больному, или, что всего маловажнее, язык томимого жаждой охладишь одной чашей студеной воды, о чем просил бедного Лазаря страждущий в пламени богач, которому за здешнюю роскошную жизнь, за презрение голодного и покрытого струпьями Лазаря, воздается тем, что просит у Лазаря и не получает просимого. Вот чего от вас требуем, и знаю, что вы не будете стыдиться, как давая отчет мне, так и в последний день, в который будут собраны все дела наши, по сказанному: *и Я приду мысли* и деяния ваши *собрать* (Ис. 66,18); это человек, и дело его *и награда его с ним* (Ис. 40,10).

Но вот и наше, что приносим вам из пустыни. Ибо и Илия охотно любомудрствовал на Кармиле, и Иоанн в пустыне, и сам Иисус совершал дела перед народом, а молитвы большей частью на свободе и в пустынях. Какой же преподан этим урок? Тот, думаю, что для невозмущаемого собеседования с Богом нужно погрузиться в безмолвие и хотя несколько возвести ум свой от непостоянного. Ибо сам Он не имел нужды в уединении; да и не было места, где бы мог Он укрыться, будучи Богом и все исполняющим; уединялся же, чтобы мы знали время и для дел, и для высшего упражнения. Итак, какие же плоды моей пустыни? Как добрый купец, отовсюду собирающий прибыль, хочу и из нее доставить вам нечто для купли.

Однажды, когда день уже склонялся к вечеру, ходил я один, погрузившись сам в себя, и местом прогулки был морской берег. Всегда имею обычай облегчать труды такими отдыхами. Потому что и тетива, постоянно натянутая, не выдерживает напряжения, а надобно ее спускать со стрелы, чтобы можно было снова натянуть, и чтоб она была не бесполезной для стрелка, но годилась в случае употребления. Так я ходил; ноги переносили меня с одного места на другое, а взор покоился на море. Зрелище было неприятное, хотя оно бывает всего приятнее в другое время, когда при ясном небе море покрывается пурпуром, тихо и кротко играя, плещет в берега. Но что же происходило в это время? Охотно скажу, и даже словами Писания: *дул сильный ветер* (Иоан. 6,18), море волновалось и завывало, а волны, как обыкновенно бывает в таких бурях, одни восстав вдали и постепенно, то достигая наибольшей высоты, то понижаясь, сокрушались о берега; а другие, ударившись о ближние скалы и отраженные ими, превращались в пенистые и высоколетящие брызги. Тут выбрасывались небольшие камни, поросты, улитки и самые легкие раковины, и некоторые опять поглощались с отливом волны. Но твердо и неподвижно стояли скалы, как будто ничто их не тревожило, кроме того, что ударялись о них волны. Из этого умел я извлечь нечто полезное для любомудрия. И как все применяю к себе, особенно если что-нибудь случившееся приводит меня в кружение, как было и теперь, то не без внимания смотрел я на видимое, и это зрелишце было для меня уроком.

Я сказал себе: не море ли — жизнь наша и дела человеческие? И в ней много соленого и непостоянного. А ветры — это не постигающие ли нас покушения и всякая неожиданность? Это-то, кажется мне, примечая, досточудный Давид говорит: *«Спаси меня, Господи, ибо дошли воды, до души моей;* избавь меня из глубин водных, я *вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня»* (Пс. *68, 2.* 3). Что же касается искушаемых, то одни, рассуждал я, как самые легкие воздушные тела, увлекаются и нимало не противостоят напастям, потому что не имеют в себе твердости и веса, доставляемых разумом целомудренным и готовым бороться с встретившимися обстоятельствами; а другие, как камень, — достойны того Камня, на Котором мы утверждены и Которому служим. Таковы все, которые, руководствуясь умом любомудрым и стоя выше низкой черни, все переносят твердо и непоколебимо, и посмеваются над колеблющимися или жалеют о них, — посмеваются по любомудрию, жалеют по человеколюбию. Сами же для себя вменяют в стыд — отдаленные бедствия презирать и даже не считать бедствиями, но уступать над собой победу настоящим, и притом кратковременным, как будто они постоянны, — оказывать любомудрие безвременно, а в случае нужды оказываться не любомудрыми; что подобно тому, как если бы стал почитать себя отличнейшим борцом, кто никогда не выходил на поприще, или — искусным кормчим, кто высоко думает о своем искусстве в тихую погоду, а в бурю бросает из рук кормило.

Но как уже один раз остановился я на этом рассуждении; то встретил и другое подобие, весьма приличное настоящему предмету. Может быть, почтете меня стариком и баснословом, когда сообщу вам его; однако же вы должны узнать это; потому что, как известно, и Писание неоднократно употребляет такие подобия для ясности изложения. По баснословию, есть дерево, которое зеленеет, когда его рубят, и противоборствует железу, — а если о необыкновенном должно и выражаться необыкновенно, — которое смертью живет, от сечения разрастается, истребляемое умножается. Конечно, это басня и произвол вымысла, но мне представляется, что таков же точно и человек любомудрый. Он прославляется в страданиях, скорби обращает в повод к добродетели, украшается несчастьями, не превозносится *оружием правды в правой руке,* не изнемогает перед *оружием в левой руке* (2 Кор. 6,7), но в различных обстоятельствах всегда пребывает одинаков или делается еще светлее, как золото в горниле.

Посмотрим на него так знатного ли он происхождения? Наравне с благородством крови покажет в себе благонравие, так что заслужит уважение в двояком отношении, — станешь ли разбирать его родословие, или смотреть на него самого. Иди он статуя низкой работы и из дешевой глины (если есть различие между глиной и глиной)? Заменив это духовным благородством, которое каждый запечатлевает сам в себе, к худшему или лучшему; а всякое другое благородство, которое в нас всевается, или грамотами нам сообщается, отметить ничего не стоящим и подложным. Ибо благородство бывает троякое. Одно — свыше, и по нему все мы равно благородны, потому что все созданы по образу Божию. Второе зависит от плоти, и по нему, так как оно состоит в тлении, не знаю, благороден ли кто. Третье познается по порокам и по добродетелям, и в нем участвуем мы больше или меньше в той мере, как думаю, в какой сохраняем или растлеваем в себе образ Божий. Это-то последнее благородство возлюбит истинный мудрец и истинно любомудрый. Четвертый род благородства, которое зависит от грамот и указов, тогда удостой слова, когда соглашусь признать красотой подрумяненную красоту, или уважать обезьяну, которой велено быть львом. Юноша ли он? — Мужественно восстанет против страстей и воспользуется юностью для того, чтобы не подвергнуться чему-либо свойственному юным, но в юном теле показать старческое благоразумие; и возрадуется о победе больше, нежели увенчанные в Олимпии. Ибо одержит победу на общем зрелище, — на зрелище Вселенной, и победу не продажную. Преклоняется ли он к старости? — Но не состарится душой, встретит кончину, как предустановленный день необходимого освобождения, с радостью перейдет в жизнь грядущую, где нет ни не зрелого, ни старца, но все совершенны по духовному возрасту. Наделен ли он цветущей красотой? В одной красоте просияет у него другая, в телесной — душевная. Сохранился ли без повреждения цвет его красоты? Он углублен сам в себя, и не знает, смотрят ли на него другие. Безобразна ли его наружность? Зато благообразен сокровенный его человек, как цветистая и самая благовонная роза, которая еще не раскрылась из своей оболочки, не имеющей ни цвета, ни запаха. Красный добротой больше сынов человеческих, он не даст и времени посмотреть на его внешность, обращая зрителя к иному. Крепок ли он по внешнему человеку? Употребит здоровье к лучшему: подаст совет, поразит словом, будет говорить смело, станет проводить время в бдении, спать на голой земле, поститься, истощать вещественное, созерцать земное и небесное, и со всем тщанием помышлять о смерти. Сделается ли он болен? Станет бороться с болезнью. А если будет побежден; то одержит верх, достигнув того, чтоб уже не бороться. Богат ли он? — Умудрится расточить богатство и из своего имущества, как распорядитель чужого, будет уделять нуждающимся, чтоб и приемлющему послужило это во благо, и ему самому сосредоточиться в Боге, ничего не имея кроме креста и тела. Беден ли он? — Обогатится в Боге, посмеваясь над имеющими у себя многое, потому что они, как непрестанно приобретают, так непрестанно нищенствуют, имея нужду еще в большем, и пьют для того, чтобы чувствовать больше жажды. Алчет ли он? — Пропитается с птицами, которые кормятся, не сея и не возделывая земли, проживет с Илиею у сарептянки. *Масло в кувшине не убудет, и мука в кадке не истощится* (3 Цар. 17,14), первый непрестанно будет источать, другой приносить обильную жатву, чтоб страннолюбивая вдова сподобилась чести, и питатель имел пропитание. Жаждет ли он? — Источники и реки дадут ему питье не утоляющее и без меры подаваемое; а если и везде оскудеют воды от бездождия, то, может быть, он будет пить из потока (3 Цар. 18,5). Потерпит ли он холод? — Его терпел и Павел (2 Кор. 11, 27). Притом, долго ли потерпит? — Есть одеяние и из камня, в чем да уверит тебя Иов, который говорит: нe *имея убежища, жмутся скале* (Иов. 24,8).

Рассмотри и большие еще совершенства. Будут ли над ним злословить? Он победит тем, что за злословие не воздаст злословием. Будут ли его гнать? — Перенесет. Будут ли хулить? — *Утешится* (1 Кор. 4,13). Будут ли клеветать? — Станет молиться. Ударят ли по правой щеке? — Обратит и другую; а если б у него была третья, — подставил бы и ту, чтоб ударившего скорее научить великодушию, вразумить его делом, когда не мог словом. Будут ли ругаться над ним? — Это терпел и Христос. И он почтен будет участием в Христовых страданиях. Назовут ли самарянином, скажут ли, что он имеет в себе беса? — Все примет с Богом. Сколь бы многочисленны ни были его страдания, все еще не достанет многого: уксуса, желчи, тернового венца, тростникового скипетра, багряницы, креста, гвоздей с распинаемых разбойников, мимоходящих и хулящих. Богу надлежало и в том преимуществовать, чтобы в самом посрамлении претерпеть большее! Нет ничего столь непреодолимого и непобедимого, как любомудрие! Все уступит скорее, нежели любомудрый. Это *осел дикий* в пустыне, как говорит Иов, ничем не связанный и свободный, *посмеивается городскому многолюдству стужания и не слышит криков погонщика* (Иов. 39,7). Это *единорог —* животное самовольное. *Захочет ли служить тебе* и переночует ли у *яслей твоих* (Иов. 39,9), подведешь ли его под ярмо? — Когда лишен он будет всего на земле, — у него готовы крылья, как у орла, он возвратится в дом настоятеля своего, воспарит к Богу. Скажу кратко: непреодолимы только Бог и Ангел, а в-третьих, — человек любомудрый, невещественный в веществе, неограниченный в теле, небесный на земле, бесстрастный в страданиях, всему уступающий победу, кроме самомнения, и тех, которые думают овладеть им, побеждающий своим низложением.

Поскольку же слово мое, начав с представленного мной подобия, изобразило любомудрого мужа, то по этому изображению рассмотрим сами себя. *Я думаю, и я Духа Божия имею*(1 Кор. 7,40), хотя нечто из сказанного может уязвлять и низлагать меня, чтоб мои ненавистники и враги, если найдут меня побежденным, имели извинение, ежели не намерению, то, по крайней мере, поведению своему, а если окажусь совершеннее и выше нападаюших на меня, — или оставили злобу свою, или изобрели новый путь неправды (так как настоящий мной презрен), и сверх злобы своей не могли быть обличены в неразумии, как *беззаконнующие втуне* (Пс. 24,3) и не имеющие сделать неправды, о чем стараются. Посмотрим же, чем оскорбят меня решающиеся на все, что только может сделать человек в обиду человеку? Назовут невеждой? — Я знаю одну мудрость — бояться Бога. Ибо *начало мудрости страх Господень* (Притч. 1, 1). И *выслушай сущность всего: бойся Бога* (Еккл. 12,13). Так сказал премудрый Соломон. Поэтому пусть докажут, что во мне нет страха; и тогда победят. А что касается иной мудрости, то я частью сам оставил ее, а частью желаю и надеюсь приобрести, по упованию на Духа. Укорять в бедности? — Но она мое излишество. Охотно бы совлек я с себя и эти рубища, чтоб без них идти по терниям жизни! Охотно, как можно скорее, сложил бы с себя и этот тяжелый хитон, чтобы получить более легкий. Назовут убежавшим из отечества? — Как низко думают о нас эти в подлинном смысле ругатели и ненавистники странных! Разве есть определенное местом отечество у меня, для которого отечество везде и нигде? А ты разве не странник и не пришелец? Не хвалю твоей обители, если так думаешь; смотри, чтоб не лишиться тебе истинного отечества, в котором должно заготовлять себе жительство. А за старость и болезненность не укоряй нас. В этом виновны не только вещество и природа, но (узнай нечто из моих тайн!) не мало истощено и рассудком (похвалюсь тем несколько). Да и ты, тучнеющий и питающий плоть свою, не составляешь для меня приятного зрелища. Хорошо, если б и у тебя видно было несколько седин и бледности, чтобы можно было увериться, что ты человек разумный и любомудрый! Что же еще? Низложат с престолов? — С каких? Разве с удовольствием вступил я теперь на престол и прежде вступал? Разве почитаю блаженными тех, которые восходят на престолы? Разве сделаешь их для меня приятными ты, восходящий недостойно? Разве случившееся недавно не обнаружило перед вами моего образа мыслей? Или и это была одна забава и испытание любви, как могут частью подозревать, а частью разглашать люди, искусные на то, чтоб собственные свои пороки видеть в других? Что же значило сокрушение? Что же значили заключения, которые всенародно произносил я сам на себя? Что значили слезы, которые во мне, едва не возненавиденному за сопротивление, возбудили в вас жалость? Лишать председательства? — Но когда и кто из благомыслящих дорожил им? А ныне избегать его, по моему мнению, есть верх благоразумия. Ибо за него все у нас приходит в замешательство и колеблется; за него пределы Вселенной мятутся подозрением и ведут какую-то невидимую и не имеющую наименования брань; за него мы, сотворенные Богом, подвергаемся опасности стать тварью людей и лишиться великого и нового имени. О, если бы не было ни председательства, ни предпочтения мест, ни мучительных преимуществ, и нас различали по одной добродетели! А нынешний порядок, — стать справа, слева, в середине, выше и ниже, идти впереди или рядом, — произвел у нас много напрасных замешательств, многих низринул в пропасть и поставил на стороне козлищ, многих не только из низших, но даже из пастырей, которые, *будучи учителями Израилевыми,* этих не поняли (Иоан. 3,10). Не допустят к жертвенникам? —Но я знаю другой жертвенник, образом которого служат ныне видимые жертвенники, на который не восходили ни орудие, ни руки каменотеса, на котором не *слышно* железа (3 Цар. 6, 7), которого не касались художники и хитрецы, но который весь — дело ума, и к которому восходят созерцанием. Ему буду предстоять я, на нем *пожертвую приятное* Богу (Лев. 1,5), — и жертву, и приношение, и всесожжения, настолько же лучшие приносимых ныне, насколько истина лучше тени. О нем, как думаю, любомудрствует и великий Давид, говоря: *и подойду я к жертвеннику* Бога, *веселящего* духовную *юность мою* (Пс. 42,4). От этого жертвенника не отвлечет меня никто, сколько бы ни желал. Изгонят из города? — Но не изгонят вместе и из того града, который горе. Если же это смогут сделать мои ненавистники, то действительно побелят меня. А доколе не в силах сделать этого, дотоле брызжут только в меня водой и бьют ветром, или забавляются сновидениями. Так я смотрю на их нападения! — Отнимут имущество? — Какое? Если мое, то пусть подрезают крылья, которых я не подвязывал. А если церковное, то из-за него и вся брань, из-за него ревнует о *ковчежце вор* (Иоан. 12, 6), и предает Бога за тридцать сребреников, что всего ужаснее; ибо такой цены стоит не предаваемый, но предатель. Запретят вход в дом? Пресекут способы к роскоши? Отдалят от друзей? Но, как видишь, обременили мы весьма многих, хотя и были ими приглашаемы (не хочу быть неблагодарным). Если же и обременили, то разве тем больше, что щадили их, а не тем, что были ими принимаемы. Причиной этому то, что меня покоил один благочестивый и боголюбивый дом, бывший для меня тем же, чем дом суманитяныни для Елиссея, — родственный мне по плоти, родственный и по духу, на все щедрый, дом, в котором возрастал единодушием и этот народ, не без страха и не без опасности скрывая гонимое еще благочестие. Да воздаст Господь дому этому в день воздаяния! А если я гоняюсь за роскошью, то пусть забавляются надо мной ненавидящие меня. Нет зла, которого бы я в большей мере не желал себе. Что касается друзей, то хорошо знаю, что одни, и потерпев что-либо худое, не убегут от меня, ибо соболезнование производится только общим терпением обид. А если буду презираем другими, то я уже приобучился сносить презрение. Ибо одни из друзей и искренних, даже явным образом, *отступили от меня;* другие, наиболее человеколюбивые, *стоят вдали* (Пс. 37,12,13), и в ночь эту все соблазнились. Едва и Петр не отрекся, а может быть, и не плачет горько, чтоб уврачевать грех. И видно, что я один смел и исполнен дерзновения, я один благонадежен среди страха, один терпелив, — и выставляемый напоказ народу, и презираемый наедине, известный Востоку и Западу тем, что против меня ведут брань. Какое высокоумие! *Если* *ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться* (Пс. *26,* 3). Не только не почитаю страшным чего-либо из настоящих событий, но даже забываю о себе, плачу об оскорбивших меня, об этих некогда членах Христовых, членах для меня драгоценных, хотя они ныне и растлены, о членах этой паствы, которую вы едва не предали, даже прежде, нежели она собрана воедино. Как вы расторглись и других расторгли, подобно волам *взыгравшим* (Мал. 4,2 ) ? Как воздвигли жертвенник против жертвенника? *Как нечаянно прийти они в разорение* (Пс. 72, 19)? Как сечением своим и сами себе нанесли смерть, и нас заставили болезновать? Как простоту пастырей употребили в пагубу пастве? Ибо не пасомых стану порицать за неопытность, но вас винить за вашу зло*бу .В погибели твоей, Израилю, кто поможет* (Ос. 13,9)? Какое найду заживляющее врачевание? Какую повязку? Как соединю разделенное? Какими слезами, какими словами, какими молитвами исцелю сокрушенное? Один остается способ. Троица Святая, поклоняемая, совершенная, истинно нами считаемая и почитаемая. Твое дело это, Тебе принадлежит слава совершения! Ты восстанови снова нам этих настолько удалившихся от нас, и пусть само отделение научит их единомыслию! Ты нам за здешние труды воздай небесным и безмятежным. А первое и величайшее из этих благ — озариться Тобой совершеннее и чище, и познать, что Тебя одну и ту же можно и представлять Единицею и находить Троицею, что Нерожденное и Рожденное и Исходящее — одно естество, три личности, *один Бог, который над всеми, и через всех, и во всех* (Еф. 4,6), Бог, к Которому ничто не прилагаемо, и в Котором ничто не перелагаемо, не умаляемо, не отсекаемо, Которого отчасти уже постигаем, отчасти стараемся постигнуть, и некогда постигнут, как те, которые хорошо Его искали здесь и в жизни, и в созерцании. Ему слава, честь, держава вовеки. Аминь.